



Вячеслав Алексеевич Пьецух

Жизнь замечательных людей (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162541

Пьецух В. Жизнь замечательных людей: Глобулус, Изд-во НЦ ЭНАС; Москва; 2006
ISBN 5—94851—166—9 (ООО «Глобулус»); 5—93196—638—2 (ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС»)

Аннотация

Каждому приятно пообщаться с замечательным человеком, даже если его (или ее) уже нет на белом свете. Можно же мысленно поговорить, а то и письмо написать... Так сказать, в пространство и вечность.

Но, главное, следует помнить, что замечательные люди встречаются порой в совсем неожиданных местах. Например, в соседней квартире. А то, что у нас каждая деревня своего замечательного имеет, – факт проверенный.

Хотите убедиться? Почитайте истории, которые записал для вас Вячеслав Пьецух – тоже, кстати, совершенно замечательный!

В сборник вошли следующие повести и рассказы:

Письма к Тютчевой
Первый день вечности
Если ехать по Рублевскому шоссе...
Деревня как модель мира
Висяк
Вопросы реинкарнации
В предчувствии октября
Поэт и замарашка
Жизнь замечательных людей
Путешествие по моей комнате
Русские анекдоты

Содержание

ОТ АВТОРА	4
ПИСЬМА К ТЮТЧЕВОЙ	5
Письмо 1-е	5
Письмо 2-е	9
Письмо 3-е	13
Письмо 4-е	16
Письмо 5-е	20
Письмо 6-е	23
Письмо 7-е	27
Приложение	28
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЧНОСТИ	31
ЕСЛИ ЕХАТЬ ПО РУБЛЕВСКОМУ ШОССЕ...	37
ДЕРЕВНЯ КАК МОДЕЛЬ МИРА	40
ВИСЯК	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Вячеслав Пьецух

Жизнь замечательных людей

Повести и рассказы

ОТ АВТОРА

Русские – народ книжный. Англосаксы над нами насмеваются, говоря: дескать, русские потому народ книжный, что они сравнительно недавно выучились читать. Пусть так. Зато мы последними распрощаемся с этим чудесным занятием и у нас еще тогда останется в чести художественное слово, когда англосаксы будут читать только расписание поездов.

Правда, со временем мы ликвидируем и это отставание, но пока мы владеем удивительным средством противостояния действительности, которым наш народ спасался в течение трех веков. Да и как нам было, действительно, не читать, если, с одной стороны, это общедоступное дело – забыться в компании тургеневских персонажей, а с другой стороны, то революционные матросы бесчинствуют, то опять свирепствует капитал.

И вот даже если завтра страна как один человек переключится на компьютерные игры, мы будем благодарны книге за то, что она столетиями держала нас на такой линии: все-таки мы прожили замечательную жизнь, в замечательной стране, среди замечательных людей: причем остро замечательных, разностороннее, даже и чересчур.

ПИСЬМА К ТЮТЧЕВОЙ

Письмо 1-е О ВОЗРОЖДЕНИИ ЖАНРА

На днях мне было видение из разряда, предположительно, вещих снов. Не то чтобы наяву, но и не сказать, чтобы в глубокой дреме, мне привиделось пугательно обширное пространство, вроде площади Тяньаньмынь в Пекине, которое сплошь заполнил весьма неприятный люд. Эта публика была опрятно одета, аккуратно причесана и не безобразничала, но в том-то вся и штука, что люди бродили по площади с закрытыми глазами, вернее, натужно, по-детски зажмуренными глазами, как будто им тошно или больно было смотреть. Однако же таскались они туда-сюда не сторожко, семена, почти ощупью, как слепые, а как нормальные люди – смело и широко.

Что бы могли означать эти причудливые жмурки, так и осталось неясным, но зрелище было настолько жутким, что я очнулся от жестокого сердцебиения и в поту. Важно заметить, что решительно ничего не намекало на время и место действия, в частности, ни покрой одежды, ни фасоны причесок, но отчего-то было ясно до щемления в области поджелудочной железы: Россия, 2310 год.

Видение показалось мне пророческим; так я и думал, что дело клонится к худу, что родная нация мало-помалу сатанеет и лет через триста превратится в скопище полуидиотов, которые не понимают самых простых вещей. Собственно говоря, таковые и теперь составляют значительную часть населения Восточного и Западного полушарий, но этот декаданс особенно приметен в России, поскольку тут еще водятся люди, которые исповедуют исконные песни, соответствия, имена. Их даже немало, и в толпе то и дело различишь своего человека по оскорбленному выражению лица, но вообще физиономии пошли ужасные, какие у моих сверстников бывают только в прострации и со сна. Ну, женщины еще как-то держатся, в их лицах все же человеческое сквозит, но у мужиков в девяносто девяти случаях из ста такие подлые физиономии, свирепые и неживые, какие могут быть у носорога или американской вонючки, но только не у преемника Божества.

Дело еще потому явственно клонится к худу, что вот уже, наверное, лет пятнадцать, как мне не с кем поговорить. Если бы я угодил в тюрьму к махровым уголовникам, а то переехал бы на постоянное местожительство в Арканзас, а то фантастическим образом перенесся бы в XII столетие, мне точно так же было бы не с кем поговорить. Конечно, я зажился, но все-таки это поразительно, как за несчастные пятнадцать лет переменились жизнь и люди в России, и я другой раз искренне удивляюсь, что новое поколение моих соотечественников общается меж собой вроде бы на том же самом, русском, дедовском языке.

Правда, одно время ходил ко мне человек, сосед из четвертого подъезда, некто Маркел, но с ним бывало тоже не особенно разговоришься, поскольку он повторяется, сбивчив и, главным образом, подшофе. В конце концов, мы с ним расплевались и даже сделались форменными врагами, но одно время регулярно сходились поговорить. Бывало, явится ко мне мой сосед, рассядется на кухне и заведет:

– Я всю жизнь горой стоял за свободу слова. И только под самый занавес до меня дошло, что вообще свобода есть величайшее зло, проклятие рода человеческого, напасть! Интересуетесь, почему?

Я посмотрю в сторону и вздохну.

– Потому что свобода – это бунт против природы, или, если угодно, Высшего Существа! Я человек неверующий, чего уж там лицемерить, но я немею перед благоустроенностью природы, которая держится на инстинкте, отрицающем свободу воли, и потому не знает потрясений и катастроф.

– Помилуйте, – лениво возражу я, – чему же тут восхищаться, если жизнь в природе – это упорядоченная уголовщина, и больше ничего. Букашка испокон веков убивает и пожирает инфузорию, птица-секретарь – букашку, удав – птицу-секретаря, собака-динго – удава, и конца этой практике не видать.

– Зато ворон ворону глаза не выклюет, а человек человеку – волк! Интересуетесь, почему?

Я посмотрю в сторону и вздохну.

– Потому что человек в своих художествах исходит не из инстинкта, а из свободы воли, которая в редчайших случаях соответствует замыслу Высшего Существа! В идеальном варианте нам следовало бы жить и действовать в рамках нерушимых правил, вроде «не укради» и «не убий». А мы что хотим, то и воротим, в зависимости от денежного интереса и состояния желчного пузыря. Вот возьмем свободу творчества: ты так твори, чтобы твое искусство продвигало в массы вечные гуманистические ценности, а если ты сочинишь про половую жизнь амебы, то это уже будет не свобода творчества, а разбой!

– Ну, пошел прямо большевизм какой-то!.. – скажу я, уже несколько рассердясь. – Про адюльтер – нельзя, про организованную преступность – нельзя и про дураков нельзя, хотя ты жизнь прожил в стране бандитов и дураков... Именно что такая позиция отдает оголтелым большевизмом, который порядочному человеку, разумеется, не к лицу...

И тут мой сосед Маркел сделает ненавидящие глаза. Замечательно, что пустейшие разговоры, которые ведут мои молодые соотечественники, например, о разнице в ценах на спирт-сырец в Пензе и Кзыл-Орде, никогда не приводят к взаимному озлоблению, а наши с Маркелом витания в эмпиреях обыкновенно заканчивались жестокими ссорами, пока мы, в конце концов, резко не разошлись.

Одним словом, путем не с кем поговорить. Надо быть справедливым: от неотчетливого большевизма моего соседа Маркела все же веяло добрыми старыми временами, когда московские дворники еще могли потолковать о влиянии Мендельсона на творчество Губайдуллиной, мальчишки стеснялись объясняться по-матерну в присутствии девочек и в газетах писали не про одни несчастные случаи на транспорте и в быту. Но вообще наша домашняя философия меня больше раздражала, чем питала, и я тосковал по настоящему человеческому общению, как, наверное, за Полярным кругом тоскуется по Москве. Я пробовал сойтись с подопустившимся людом по дешевым пивным, которые еще оставались в районе Таганской площади и у Рогожской заставы, но эти ребята, видно, совсем обалдели от постоянных возлияний, давно оставили разговоры про категорический императив и теперь по преимуществу несли чушь насчет вредительской деятельности демократов в центре и на местах. Я пытался связаться кое с кем из бывших властителей дум, что стоило мне многих унижительных хлопот, но они тоже все пили горькую, и этим бедолагам было ни до чего. Наконец, я два раза давал объявление в одной газетенке, имевшей двусмысленную репутацию, дескать, человек ищет, с кем бы поговорить, но на них откликнулись тридцать шесть полусумасшедших дамочек, вечно бедующих в поисках жениха.

Тогда я задумался о возрождении эпистолярного жанра, поскольку письма-то можно было писать кому угодно, хоть королеве английской, и куда угодно, хоть в будущее, вовсе не рассчитывая на переписку, и даже мои письма было не обязательно отправлять. Ведь тут одно лукавство, будто бы настоящее человеческое общение – это когда измученная душа говорит, а потом слушает, а потом опять говорит; настоящее человеческое общение – это когда твоя измученная душа безостановочно говорит.

Тем не менее с адресатом вышла некоторая заминка, а именно: я перебрал одну за другой уйму кандидатур. Писать Боруху Спинозе было слишком далеко, Пушкину – не по чину, академику Лихачеву – бессмысленно, потому что он не умней меня. В конце концов, я остановился на Анне Федоровне Тютчевой, старшей дочери поэта и фрейлине императорского двора.

Этот выбор я объясняю тем, что, во-первых, все связанное с Федором Ивановичем Тютчевым мне остро интересно, хотя и глубоко чужд его оголтелый национализм. Во-вторых, мне до того понравились дневники Анны Федоровны, особенно в части религиозного субъективизма и воззрений на состояние русского общества, что я их четыре раза перечитал; причем с каждым разом меня все настоятельнее преследовало подозрение, что эти дневники писаны исключительно для меня. В-третьих, во внешности Анны Федоровны мне увиделось нечто родственное, даже родное, – я вообще питаю слабость к таким хорошим русским лицам, несколько неказистым и акварельного свойства, но прямо-таки светящимся открытостью, внимательным умом и какой-то непривитой, потомственной добротой. Наконец, общение с женщиной (только потому, что она сообщительна), всегда предпочтительней общения с мужчиной, даже и выдающегося художественного дарования, потому что он предсказуем, и чересчур безостановочно говорит его измученная душа.

Впрочем, еще можно было адресоваться к Цветаевой, Софье Ковалевской, Ларисе Рейснер, писательнице Тэффи, актрисе Бабановой, светской львице Смирновой-Россет и царевне Софье, но по здравому размышлению в каждой из этих замечательных дам обнаруживался изъян, понижавший, а то и сводивший на нет энергию отношения, и я им давал отвод. Царевна Софья была умна, но уж больно некрасива и деспотична, Цветаева ненормальная, Лариса Рейснер – злая фанатичка, вроде девицы де Теруань.

Итак, мне вздумалось завести переписку с Анной Федоровной Тютчевой, то есть в том смысле переписку, что я трактовал ее дневники как письма издали. Первое послание я сочинил в два присеста, на веленовой бумаге и принципиально стальным пером; это было перо № 86, которое пережило всех моих учителей, кое-кого из одноклассников и завалилось в старой банке из-под ландрина вместе с прочей металлической ерундой. Писал я, в общих чертах, о том, что возрождение эпистолярного жанра в начале XXI столетия послужило бы потеплению человеческих отношений, настолько отягощенных достижениями научно-технической мысли, что людям моего времени не с кем поговорить. Уж так, дескать, сложилась жизнь, такая нам вышла планида, что, приобретая и совершенствуясь во внешних сферах, человек скудеет как собственно человек. Например, стоило изобрести телефон, как сразу рухнуло целое литературное направление, и целый жанр приказал долго жить, стоило привязать эффект давления пара к тележному колесу. А куда людям, спрашивается, торопиться, куда спешить, если и в самолете летишь – живешь и на диване лежишь – живешь. Между тем целый жанр путевых записок ухнул в небытие, потому что какое же это путешествие, когда за окном мелькает, проводник бранится и пьяный сосед по купе не дает житья... Опять же что такое сверхъестественно важное требуется сообщить подружке посредством сотового телефона, если феноменология духа давно исследована Гегелем, и Лейбниц свою монаду открыл, и про непротивление злу насилуем все известно? То есть как только иссякли настоящие новости, так сразу и появился сотовый телефон.

Вообще из-за этих миниатюрных приспособлений страшно стало по улицам ходить, потому что девушки кругом бродят и как бы сами с собой разговаривают, так что пожилому человеку, как в сумасшедшем доме, сильно не по себе. Да еще говорят они варварским, неотесанным языком, через пень-колоду, потому что отродясь писем не писали, а между тем ничто так не полирует обиходную речь, как именно привычка излагать свои соображения на письме. То ли дело раньше люди объяснялись: «Любезная сестра! Я прогуливался на берегах Ангары с изгнанницей, чье имя уже в наших патриотических летописях. Сын ее, красоты

рафаэлевской, резвился перед нами и, срывая цветы, спешил отдавать их матери. Мы миновали часть леса, поднимаясь все выше, как развернулся обширный горизонт, обложенный на западе цепью синюющих гор и прорезанных по всему протяжению рекою, которая вилась, как серебряная змея...»¹ – то есть совсем другое дело, если посмотреть даже с одной только эстетической стороны.

Тем более удивительно, что люди XIX столетия настойчиво связывали представление о лучшем будущем человечества именно с успехами науки по преимуществу в технических областях. Им почему-то казалось, что вот еще изобретут десяток-другой фантастических аппаратов, обличающих всемогущество человеческого разума, и явится пятое, всеразрешающее евангелие, и наступит эра благоденствия, и зло расточится повсеместно, потому что как же это так: уже придумали двигатель внутреннего сгорания, а тебя могут походя зарезать за пятак... Отправляясь от чистой логики, такую позицию понять можно, поскольку законно будет предположить, что с освобождением человека от монотонного, изнурительного труда у него появится уйма времени для самосовершенствования, для приобщения к высшим достижениям духа, по крайней мере, для разных безвредных занятий, вроде выпиливания лобзиком или разведения огурцов. На поверку же оказалось, что если дать русскому человеку десять выходных кряду, он одуреет от безделья и горячительных напитков до полной потери сил.²

Вообще все самые светлые гуманистические идеи, выношенные в лучших головах рода людского, почему-то оказываются положительно неприменимыми на практике, и в худшем случае оборачиваются своей противоположностью, а в лучшем случае остаются бесплодными, как мулы и лошаки. Видимо, дело в том, что все великие гуманисты были слишком высокого мнения о человечестве, и такое легкомыслие не может не удивлять. Хотя чему тут особенно удивляться, если они судили о людях главным образом по себе. Сен-Симон, поди, думал, что если он может бесплатно мыслить по восемнадцать часов в сутки, то и миллионы его сограждан способны на тех же самых основаниях по восемнадцать часов в сутки пахать, копать, ткать, строить и бедовать. А соотечественник, поди, только о том и мечтал, как бы ему растлить хозяйскую дочку и украсть у сеньора вязанку дров.

Закончил я свое первое письмо к Тютчевой такими словами: «Короче говоря, дорогая Анна Федоровна, успехи научной мысли не имеют никакого отношения к счастью людского рода, и напрасно ваше столетие уповало на них, как на средство от всех социальных зол. Более того, подозреваю, что эти успехи давно вошли в прямое противоречие с культурой и одним эпистолярным жанром дело не обойдется, а нужно ждать еще более сокрушительных перемен. Того и гляди наука до таких пределов дойдет, что человек постепенно разучится читать, писать, считать и даже, может быть, говорить. А зачем ему, действительно, говорить, языком ворочать, если он нажал на кнопку, – и за него какое-нибудь приспособление говорит. То-то весело заживем!»

¹ В сноске я нарочно обозначил для Анны Федоровны – дескать, это выдержка из послания декабриста Михаила Лунина, сочинившего их целую серию под общим названием «Письма из Сибири», за которую ему после проломили голову топором. Я посчитал эту сноску необходимой, поскольку моя корреспондентша понятия не имела об истинном содержании декабризма, ибо вот она пишет: «Сегодня молебен в память злосчастного события 1825 г., о котором хорошо было бы позабыть». Так и мы держались фальшивого мнения о нашей диссидентуре, которая на самом деле понятия не имела о том, куда заведут ее подвижнические труды.

² Тут я опять сделал сноску, вызванную тем, что Анне Федоровне требовалось пояснить: под Рождество 2004 года для того, чтобы улестить нашу заворовавшуюся буржуазию, которая еще и наладилась в это время кататься на лыжах в Швейцарских Альпах, правительство России учредило сразу десять дён умопомрачительных выходных.

Письмо 2-е О БРЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО ВЕЩЕСТВА

Одним прекрасным утром в то время, когда Маркел еще оставался моим душевным приятелем, мы с ним отправились прогуляться и заодно обследовать несколько мусорных контейнеров по дворам. Надо сказать, что это – увлекательнейшее занятие, и мы с приятелем упражнялись по помойкам, как только нам являлась фантазия погулять. В разное время я обрел: полуоблупившийся образ Богоматери-Троеручницы, плюшевого медвежонка еще довоенной фабрикации, разрозненное собрание сочинений Сенкевича, четыре гарднеровские тарелки, чуть обколотые по краям, целый архив одного генерала военно-ветеринарной службы, пыжиковую шапку, чуть побитую молью, великолепную паркеровскую авторучку, антикварную бутылку из-под шустовского коньяку, ломберный столик с инкрустациями из перламутра, набор курительных трубок, большой моток медной проволоки, за который я выручил кучу денег, конский череп и сломанный газовый пистолет.

Впрочем, настоящие находки случаются не так часто, и в тот раз мы с Маркелом два часа прошатались зря. Разве что размялись и вдоволь налюбовались на чудесное мартовское утро, не ясное и не пасмурное, а какое-то просветленное, какими бывают еще приятные воспоминания и печаль. Стоял легкий морозец, слежавшийся снег стenal под ногами, но в воздухе уже витали новые запахи и что-то незимнее, обещающее угадывалось в ласковом свете дня.

Поговорили с Маркелом о том о сем, даром что он был по обыкновению подшофе. В частности, он сказал:

– Вот еще одну зиму пережили. А зачем?

– То есть как зачем? – удивился я.

– Ну, вот скоро наступит форменная весна, потом будет лето, потом осень, потом снова придет зима. Вы находите в этой периодичности какой-нибудь высший смысл?

– Нахожу! Вернее, не то чтобы нахожу, а не навязываю гуманистического значения чисто физическим процессам, вроде круговорота воды в природе. Во всяком случае, смена зимы весной не отрицает для меня значения личного бытия.

Маркел выдохнул и сказал:

– А вот я что-то не нахожу. Какая-то последовательная бессмыслица, ей-богу, особенно если принять в расчет, что в конце концов Солнце поглотит Землю и всему на свете придут кранты. Ни Шекспира не останется, ни Эйфелевой башни, ни денежных знаков, ни шеститомной «Истории Азии» – ничего! Вот, было дело, построил я за жизнь четыре моста, а спрашивается, зачем?

– Затем, чтобы люди ездили, колесили туда-сюда.

– Да на что им ездить-то, остолопам, лучше бы сидели себе дома и думали о душе!

– Нет, дорогой мой товарищ, – сказал я, – дело не в том, что со временем Солнце поглотит Землю, а просто не ваш сегодня пришелся день. Оттого вы и наводите этот забубенный пессимизм.

– А кстати, какой сегодня день?

– Пятница, четвертое марта, – ответил я и хлопнул себя по лбу. – Ба! Да ведь нынче годовщина смерти Гоголя! То-то мне с утра как-то не по себе...

– Это повод, – сказал Маркел.

Я не большой любитель выпивки, но все же мы с приятелем купили вскладчину поллитровую бутылку водки и отправились ко мне отмечать печальную дату в истории нашей изящной словесности, которой мы оба были преданы, как королевские пуделя. Поскольку

ходе пьянки Маркел заявил, что Гоголь оскорбил Россию своими «Мертвыми душами», мы с ним разругались окончательно и, как мне думалось, навсегда.

После я горько сожалел о нашем разрыве, не без основания подозревая, что, может быть, нас всего и было-то два человека на всю Москву выкормышей старой, настоящей культуры, которым, по крайней мере, было о чем толком поговорить. Но делать было нечего, и я лет пять разговаривал сам с собой. Бывало, усядусь напротив зеркала, вперюсь в свое отражение и, отправляясь от недосказанного, заведу:

– А ведь действительно: сочинял Николай Васильевич, сочинял, а в соседней галактике Магеллановы Облака, на одной-единственной планете, где существует разумная жизнь, никто про его «Шинель» даже и не слышал.

– Ну и что из этого вытекает? – скажет отражение, округляя не совсем мои, больно уж напуганные глаза.

– Из чего? – переспрошу я.

– Ну, из того, что в галактике Магеллановы Облака никто не читал гоголевскую «Шинель»?

– Что все зря.

Много позже, когда я уже переписывался с Анной Федоровной Тютчевой, мне внезапно пришло на мысль, что в ее посланиях от 1852 года, ни в марте, ни в апреле, ни когда бы то ни было не упоминается о кончине величайшего русского писателя, который открыл настоящую литературу на тот манер, как открывают ранее неизвестные острова; то ли, будучи немочкой по крови и воспитанию, она Гоголя не читала, то ли о его смерти слухом не слышали при дворе. Небось, сидела Анна Федоровна 4 марта 1852 года в Зимнем дворце, играла со своими подружками, фрейлинами, в стуколку, вникала в мелкие придворные сплетни, а в это время в Москве, у Никитских ворот, в доме Талызина умирал гений, жалко охая и в бреду. Такие феномены духа производятся природой крайне редко и как бы неохотно, и смерть любого из них следует приравнять к двум лиссабонским землетрясениям, а в Зимнем дворце до этого дела нет, у них давеча цесаревна холодно смотрела, княжна Долгорукова затеяла новую интригу, комнатный мужик украл казенную простыню. Словом, не удивительно, что позже у меня сложилось следующее письмо:

«Дорогая Анна Федоровна! Это странно и обидно, что, будучи по-настоящему культурным человеком, Вы ни словом не откликнулись на смерть гениального нашего писателя, которому нет равных ни в одной из европейских литератур. О чем угодно Вы пишете в своих посланиях за первую половину 1852 года: о том, что из-за жестокого климата жить в России невозможно, о Боге, о радостях деревенской жизни, а вот кончина национального гения осталась Вами незамеченной. Почему?»

Не могу допустить, что Вы не читали сочинений Гоголя, или хотя бы не слышали самого имени, или Вам не встречались противники «Мертвых душ». Это еще и потому удивительно, что Вы декламировали для императрицы из какого-то нелепого Октава Фелье, обмолвились о смерти живописца Иванова, якобы возродившей интерес к его картине «Явление Христа народу», душевно переживали за Рубинштейна, которому во время концерта в Зимнем дворце устроила обструкцию придворная молодежь. Разве дело в том, что Вы все же воспитывались в семье поэта слишком национал-публицистического направления, который сочинял рифмованные коммюнике, да и то от случая к случаю, когда на него нападала лирическая хандра.

Или дело обстоит так: в середине XIX столетия еще не понимали, что литература – основное производство на Руси, что мы, во-вторых, аграрная страна, а во-первых, страна, где умеют делать исключительно прозу, эссеистику и стихи. Все прочее в России, говоря по-немецки, – швах: армия с 1812 года небоеспособна, государственность хрупкая, в промышленности и сельском хозяйстве свирепствует азиатский способ производства, нравственное

состояние общества таково, что не воруют только душевнобольные, гражданского самочувствия ни на грош. А литература, между тем, была самая блестящая в мире, и более того: настоящая европейская проза именно с Гоголя в России и началась. Прежде сочиняли все хроники, картинки из народного быта, и только Николай Васильевич дал понять, что литература – это алхимия, превращения, колдовство. То есть, если бы мы не имели нашей изящной словесности, да еще музыки, двух театральных школ и живописцев Серебряного века, то наше отечество оставалось бы просто-напросто самой бедной и неблагоустроенной страной Европы, с которой противно считаться даже румынскому королю.

Нам могут сказать: так-то оно так, но ведь книжка – забава, способ как-то занять досуг. А мы в ответ: никак нет, господа хорошие, литература – это то, на чем держится человеческое в человеке, ибо она настойчиво напоминает нам о нашей надприродной сущности и нашем внеприродном происхождении, а иначе люди не выходили бы из дома без охотничьего ружья. Недаром в народном сознании, даже среди тех, кто и азбуки в руках не держал, писатель в свое время стоял наравне с августейшими особами и святителями древнерусского образца. Какими-то дополнительными усилиями наш соотечественник сознавал, что если человек способен через мытарства отдельного армейского капитана отобразить всю историческую судьбу русского народа от Владимира Святого и далее, в непроглядную перспективу, то это не то чтобы даже и человек. Возьмем Александра Сергеевича Пушкина: страна погрязла в дурости и нищете, а тысячи русаков ходили на Мойку справляться о здоровье поэта зимой 1837 года, и вот даже государь Николай Павлович остался в истории как слабый администратор, заплативший его долги. Или опять же Гоголь: его до такой степени забаловало почитание современников, что он своим товарищам по перу только что два пальца не подавал. А то помянем Вашего батюшку, дорогая Анна Федоровна: средненький был поэт, а между тем его знала вся грамотная Россия вплоть до последнего губернского секретаря.

Вот если бы Вы жили в наше время, тогда было бы понятно, отчего Вы обошли молчанием кончину величайшего художника на Руси. Оттого, что время-то глубоко акультурное, и моим современникам, как говорится, ни до чего. Русский читатель за последние двести лет донельзя опустился и измельчал, пишут черт-те что, за журнальной полемикой ни одна собака не следит, настоящие писатели не в чести. Нынче в именинниках ходит у нас всякая сволочь, как-то: сбрендившие домохозяйки, бывшие че-ховеда, сбившиеся на приключенческий жанр, молодые хищники, точно знающие, что почем, и совсем уж оторвы, пишущие про половые извращения у собак. Разумеется, моим современникам невдомек, что литература – это не разновидность предпринимательства, а священнодействие, в котором знают толк два-три волшебника на каждое поколение русаков.

Хотя, может быть, дело обстоит так: в Ваше время, то есть в первой половине XIX столетия, русский читатель еще только формировался как феномен мирового значения, потому что даже такой великан, как Белинский, ставил на одну доску Гоголя и Жорж Санд. В пору зрелости русский читатель вошел попозже, когда Вы уже оставили двор и вышли замуж за тронутого Ивана Аксакова, который ненавидел царя Петра Великого за то, что этот государь отучил русских сморкаться в рукав и ввел в обиход носовой платок. Это уже потом подмастерья зачитывались сказками Пушкина, приказчики из модных магазинов боготворили Надсона, культурная публика воспринимала каждое сочинение Достоевского и Толстого как новое евангелие, журнальную полемику в известных кругах принимали даже слишком близко к сердцу, и не было в России такого гимназиста, который не знал бы наизусть: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» Оттого разговорный язык тогда был красочным и богатым, люди понимали обхождение и в огромном большинстве случаев были порядочны, ибо сверяли свои поступки с эталонными персонажами у Тургенева, лица были не такие красивые, как у нынешних, но одухотворенные, словно светящиеся изнутри...»

Тут я отложил перо, поскольку мне на ум пришло такое неожиданное соображение: а ведь русский-то читатель как феномен мирового значения кончился совсем недавно, лет так десять – пятнадцать тому назад!.. Не такой уж я и старый хрен, но мне отчетливо помнится, что еще десять – пятнадцать лет тому назад люди читали так, как они теперь копейку зашибают – неуклонно, ревностно и с душой. Помню, как-то мы с коллегами из отдела международного рабочего движения целый день обсуждали «Постороннего» Альбера Камю, которого накануне читали по очереди, и потому без малого впопыхах; спустились в столовую перекусить в обеденный перерыв, и опять за свое, пока в отдел не заглянул заместитель директора по научной части, сделавший нам продолжительный нагоняй.

– Ну вы, товарищи, совсем распоясались! – сказал он. – На носу конференция в Карловых Варах, а у вас конь не валялся!.. – И в этом роде он канючил приблизительно полчаса.

Я вздохнул, взял в руки перо и стал продолжать письмо.

«И даже если отложиться от дидактической стороны дела, все равно нам ясно, что чтение для русского человека – это как дыхание, будь он трижды казнокрад, потому что у него такой характер занятости и организация естества. Он по натуре человек камерный, вот как музыка камерной бывает, и в интимном общении с книгой он находит нечто необходимо сакральное, таинственное, как в гадании на бобах. И вот интересно, дорогая Анна Федоровна, что останется, отними у него книгу? наверное, останется тоска, благонамеренность, Арканзас.

Следовательно, позади революция, всемирный потоп, который мы просмотрели, а впереди какая-то новая культурная эпоха (в том смысле, что ножной грибок – это тоже культура), отрицающая пять тысячелетий исторического пути. А что, в самом деле: может быть, древнеегипетский пантеон, «Сказание о Гиль-гамеше», римское право, Рабле, энциклопедисты... ну и так далее, вплоть до теории относительности – это все ошибка, излишества, ложный путь? Может быть, человечество крепко просчиталось, изначально оперевшись на идеальное, от века ориентируясь, как на Полярную звезду, на иерархию духовных ценностей, тысячелетиями синтезируя культурное вещество? Может быть, в качестве ориентира следовало выбрать что-нибудь попроще, например, аксиому «товар-деньги-товар», потому что уж больно хрупким оказалось на поверку это самое культурное вещество. У нас стоит начаться большой войне, разразиться природной катастрофе, просто всем полицейским одновременно выехать на пикник, как человеческое поголовье сразу звереет до такой степени, что идеалисту лучше всего сидеть в потемках и запершись.

И даже не нужно никаких экстраординарных происшествий, чтобы в стране вдруг рухнула культура и наступила эпоха придурковатых материалистов, которые не читают ничего, кроме расписания поездов. То есть задолго до того, как Солнце поглотит Землю, оказались напрасными шеститомная «История Азии» и Шекспир.³

Словом, кончилась наша Россия, во какая, Анна Федоровна, ерунда!»

³ Это, Анна Федоровна, наши ученые подсчитали, что через шесть миллиардов лет Солнце, расширяясь, поглотит Землю, и псу под хвост пойдет все культурное вещество.

Письмо 3-е О ДИКИХ ПЕСНЯХ НАШЕЙ РОДИНЫ

Давеча в мусорном контейнере соседнего дома, стоящего по отношению к нашему нелепо-наискосок, я обнаружил целую банку консервированных ананасов, у которых, видимо, истек срок годности, и я в кои-то веки устроил себе десерт. Я наслаждался заморским яством до самого обеда, потом пообедал супом из куриных лапок и было прилег отдохнуть на свою кушетку, как мне пришла интересная мысль насчет диких песен нашей родины, и я пошел на кухню писать письмо. Я заметил по часам: ровно пять минут я таращился в окно, грыз деревянную ручку, некогда стоившую семьдесят копеек, а на шестой минуте принялся за письмо.

«Дорогая Анна Федоровна, – начал я. – Как представишь себе нашу российскую Антарктиду, раскинувшуюся от Пскова до Колымы, которую по непросвещенности или лени заселили пращуры нынешних русаков, так сразу начинает мучить подозрение, что это пространство вообще мало приспособлено для житья. Один климат чего стоит: два-три месяца того, что в Европе называется межсезоньем, а прочее все снега, стужа, гололедица, ОРЗ.⁴ Вот и вы пишете в начале 1852 года: «Увы, мы, наверное, не дождемся весны, уже 7/19 апреля, а у нас еще великолепный санный путь. Лучше вообще не жить, чем жить в этом краю!» Я так остро вопрос не ставлю, но должен сознаться, что с удовольствием плюнул бы в харю тому предводителю древнего славянства, который завел наших предков в эту ледяную пустыню и бросил прозябать от холода и тоски. Ну почему французы нежатся в тепле, немцы обосновались на благословенных берегах Рейна, а не в Гренландии, болгары, в прошлом наши непосредственные соседи, осели у Черного моря, итальянцы и греки вообще пригрелись у Христа за пазухой, а мы облюбовали нашу Антарктиду? Ответа нет...

Но вот какое дело: может быть, по-своему плодотворны, даже некоторым образом возвышенно чреваты эти самые снега, стужа, гололедица, ОРЗ. Не нахожу никакой загадки в том, что круглый бедняк, обретающийся под синим небом, допустим, Сицилии, поет канцоне и танцует веселую тарантеллу, хотя бы он обедал не каждый день. Но это даже не загадка, а тайна, когда круглый бедняк, обретающийся под сырым чухонским небом, задавленный сугробами, век сидящий на тюре с луком, поет величественные песни, впрочем, полные безысходности, как окончательный приговор. Да еще в его балладах несколько больше ума и вкуса, чем в тарантелле, но это – особая статья.

Так, надо полагать, что вся художественная культура России есть противостояние, естественный контрапункт угрюмой нашей природе, если не враждебной, то, по крайней мере, не расположенной к человеку в любой из его ипостасей, именно физической, этической, метафизической – и вообще. Удивительно только то, что русак противостоит среднегодовой температуре +4°C не весело, а умственно и печально, норовя докопаться до первопричин, в которых ничего веселого не бывает, изболтать сам источник боли и, таким образом, приравнять знание к панацее от всех проблем. Во всяком случае, у нас никак не могли нарисовать «Завтрак на траве», написать о трех жизнерадостных джентльменах, путешествующих по Темзе, сочинить «Гимн радости», даром что Бетховен был горький пьяница и глухарь. И даже единственная на Руси беспечная книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» –

⁴ То есть острое респираторное заболевание, распространенное в наше время, как в Ваше – холера и дифтерит. Что же до моды на аббревиатуры, появившейся еще в последние годы царствования Романовых, то я и сам не пойму, откуда она взялась. Наверное, сдуру начали экономить на словах и доэкономились до того, что в русском языке появилось что-то от древнего халдейства и каббалы. Но это еще шалости по сравнению с тем, что в нынешней газетной фразе на десять романогерманских слов приходится одно природное междометие и тире.

произведение незрелого таланта и недостаточного ума. Когда Гоголь по-настоящему вошел в силу, все сразу стало на свои места, явились помешавшиеся чиновники, симпатичные проходимцы, пожилые супруги, осатаневшие от скуки, дебилы землевладельцы, захоластные дворянчики, которые насмерть ссорятся из-за сломанного ружья.

Следовательно, это даже слава богу, что нелегкая занесла наше племя на Среднерусскую возвышенность, ибо через то мы сосредоточенны и мудры. Правда, нашему мужику приходилось по восемнадцать часов в сутки ковырять сиротскую почву в надежде обеспечить себя хлебом хотя бы до Рождества, зимой никак протопиться он не мог, и свет в окошке у него мерк сразу после обеда – уж какая тут тарантелла, тут в пору волком взвыть, глядя в синеющие стеклышки и подперев голову кулаком. Правда, под влиянием внешних обстоятельств характер у него сложился чересчур многогранный, то есть он вороват, доносчик, недоброжелатель, лишний раз пальцем не пошевелит, чтобы зашибить копейку, а с другой стороны, – сострадатель, добр, открыт, оголтело изобретателен, нестяжатель, идеалист. Тем не менее песни у него все одинаковые – заунывные и великолепные, как акафисты, возносимые к небу, которые, как правило, провоцируют непрошеную слезу. Слушаешь и млеешь, поражаясь чему-то заразительно дикому, то есть первобытному, изначальному, доносящемуся из тех допотопных времен, когда людей было так мало, что они общались с Господом напрямки. С пяток-другой задорных канцон российской фабрикации не в счет, их сочинили сидельцы москательных лавок, предки нынешних нефтяных магнатов, напомаженные, в галстуках бантом и с предлинным ногтем на мизинце в честь какой-нибудь Варвары Саввишны из Собакиной слободы.

Дальше – пуще, именно самые прекрасные русские песни появились у нас как раз в предельно трагическую эпоху, которая будет почище Смутного времени, – это когда власть над нашей страной взяли прекраснородные людоеды, они же большевики.⁵ Сей феномен постичь нельзя. Разве что так: поскольку Россия есть контрапункт природе, тут, как нигде, эффективно работает принцип «чем хуже, тем лучше», то есть у нас чем свирепее цензура, тем утонченней литература, чем страшнее власть, тем прекрасней песни, чем безнадежнее перспектива, тем шире пьется и веселей.

Неудивительно, что как только русская жизнь вошла в общеевропейскую колею, как только нестяжательство стало диагнозом, а романтизм уделом городских сумасшедших и сумасшедших как таковых, так сразу культура, как в песок, ушла в дикие песни, рассчитанные на слабоумное потомство сидельцев москательных лавок, которое уже не отличает стамески от кочерги. Причем дикие они не в смысле изначальности, а в том смысле, что противно-монотонные, как у папуасов, и приторно-глупые, как отроческие стихи. Стало быть, налицо еще один признак распада времени и гибели культуры, коли дикие песни нашей родины теперь заменяют все.

Спрашивается: как они жить-то собираются один на один с нашей Антарктидой и вытекающими последствиями, не имея нужды в книге, с которой можно забыться, как с любимой или ящиком шампанского, не будучи прозелитом отвлеченной мысли, которая, как правило, радуется и бодрит, не чувствуя потребности в музыке, которая вгоняет в прекрасный сон? Ведь действительность – хаос, искусство – космос, то есть жизнь сама по себе бесформенна, неорганизована и представляла бы собой что-то вроде Броуновского движения, кабы не искусство, которое, как электрический ток, придает ей направление и черты. Поэтому книга – больше действительность, чем действительность, и жизнь, чем жизнь.

⁵ Это, Анна Федоровна, такая разновидность социалистов, которые по простоте полагают невозможное возможным, и поэтому всегда получают неожиданный результат. Так, они нацелились построить у нас общество абсолютной справедливости, а получили империю древнеперсидского образца.

Другое дело, что раствориться в пейзаже, упиться книгой, погрузиться в музыку – эта привилегия принадлежит утонченному меньшинству. Но вообще на свете много несправедливостей и несообразностей, например, в природе нет музыки, а у человека есть. Другое дело, что угасание культуры затеялось не вчера, вот и Вы, дорогая Анна Федоровна, пишете, вспоминая о концерте классической музыки в Зимнем дворце, на котором из всей августейшей фамилии присутствовал один великий князь Константин Николаевич: «Скоро в России не останется никого, кто бы умел слушать Бетховена и Вебера» – ну, не то чтобы скоро, а лет так через двести после Вашего ухода точно не останется никого. Что же это будет за жизнь, интересно знать?..»

В прихожей заверещал телефон, и я так испугался, что даже выронил перо, поскольку мне уже сто лет никто не звонит, включая непосредственную родню. Как я и думал, ошиблись номером – спрашивали аптеку; так как моим нечаянным собеседником, по всем приметам, оказался человек старой закалки, мне удалось его немного разговорить. Потолковали об озоновых дырах, землетрясении на Суматре, вздорожании хлебобулочных изделий, закате культуры и падении языка.

После я вернулся на кухню и сел за стол. Я долго смотрел в запотевшее, голубеющее окошко и думал о том, что человечество, по-видимому, исписалось, во всяком случае, музыканты торжественно утверждают, будто бы композиторская музыка, наконец-то, кончилась и началась исполнительская, которая не кончится никогда. Затем мне отчего-то живо припомнилась сценка из моего далекого детства: то же самое вечереет, за двумя нашими окошками, забранными тюлем, смеркается, и уже сияет над столом оранжевый абажур; на столе – початые бутылки «красного» и «белого», то есть вина и водки, винегрет, очищенная селедка, остатки холодца, вареная картошка, литая чугунная пепельница, набитая окурками папирос; за столом тесно сидят взрослые, они же «большие» – женщины в крепдешиновых платьях и с одинаковыми брошками, мужчины по преимуществу в растегнутых кителях. Сидят они, сидят, и вдруг гвардейский капитан с желтой нашивкой за контузию подопрет щеку ладонью, остекленеет глазами и заведет:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах... —

и вся компания громоподобно подхватит припев, так что даже дрогнет и закачается абажур.

Это был год, вероятно, 50-й, много если 53-й, поскольку о Сталине говорили еще с восторгом, и не лукавя, а от души. Кроме того, говорили о подписке на Большую медицинскую энциклопедию, о певце Лещенко, прозябавшем в Бухаресте, хотя его к тому времени, кажется, уже не было в живых, о майоре Звонареве, который выиграл по облигации государственного займа автомобиль, о какой-то Зиночке, брошенной замкомполка по тылу, о Лермонтове, в том смысле, что некогда русская армия выдвигала выдающиеся таланты, о примадонне Борисенко и женских качествах вообще. Между разговорами то и дело затевались танцы, причем кавалеры неизменно упирались в спину дамам большим пальцем правой руки, потом опять шли разговоры, потом затягивали еще что-нибудь из диких песен нашей родины и так до тех пор, пока мужчины по простоте душевной не начнут потягиваться и зевать.

Сейчас таких застолий на Руси уже не бывает, и публика бродит от блюда к блюду с тарелкой в руках, все самодовольные, азартные, озлобленные, даже хохолками на затылке как бы предупреждающие: смотрите, акционеры всей планеты, и трепещите, несчастные, – мы идем!

Я всегда думал, что мир должен вздрогнуть, когда русский человек встанет из-за стола.

Письмо 4-е ОБ ИЗМЕЛЬЧАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Прежде я держался того идеалистического мнения, что именно сознание определяет бытие, а не наоборот, как считали материалисты, и, таким образом, решал основной вопрос философии в пользу природной нравственности человека, которая представляет собой настоящую физическую силу, способную хоть передвигать горы, хоть поворачивать реки вспять. Но после я вынужден был признать, что бывают эпохи, когда бытие определяет сознание, особенно, если имеется в виду не мимолетное, а какое-то прочное, всегдашнее бытие. Я мало-помалу сообразил, что занимается заря какого-то совсем нового периода в российской истории, направляемого силами бытия, когда в мусорных баках мне стали попадаться невиданные ранее предметы, как-то: «История русской философской мысли» в восьми томах, две серебряные десертные ложки, наручные швейцарские часы, правда, без минутной стрелки, консервная банка из-под омаров, в которую очень удобно складывать окурки, отличный малоношенный галстук фирмы «Кириллов и сыновья». Да еще мой враг Маркел перехватил у меня из-под носа финский сотовый телефон.

Суммарный анализ сих артефактов, найденных мной на помойке, давал понять, что именно начинается какая-то новая эпоха в истории России и человека, что в начале XXI века мы оказались у разделительной черты, за которой ясно различаются все признаки упадка, а то и брезжит конец цивилизации, если понимать ее как систему гуманистических парадигм. То есть я ожидал не конца света как такового, не крушения нашего благоустроенного мира, а чего-то прямо противоположного, грубо-враждебного той культуре, в правилах которой я воспитывался и рос. Мне было до обидного ясно, что если люди нового времени запросто выбрасывают на помойку «Историю русской философской мысли» в восьми томах, то это какие-то совсем другие, пугательно новые люди, которым нимало не интересно и не дорого то, что было интересно и дорого в мое время, а то представляет настоящую ценность, о чем я даже и не подозревал в своей прокоммунистической простоте. Вот уж, действительно, между нами зияет пропасть: нынешние поклоняются голому ритму, дорого одеты и говорят по-матерному, а всего лишь поколение тому назад говорили все о возвышенном, пели «У дороги чирик» и по десять лет таскали одни штаны.

Помню, старшекласниками, в году, наверное, 61—62-м, мы собрались у нашего товарища Саши Преображенского прокутить кое-какие деньги, заработанные на разгрузке силикатного кирпича. Позвали одноклассниц, купили бутылку ликера «Шартрез» ядовито-зеленого цвета и три флакона «Тройного одеколона», смешали обе жидкости в двухлитровой банке из-под варенья и принялись было кутить, как вдруг завязался продолжительный разговор.

Кто-то сказал:

– Лев Толстой, конечно, великий писатель, но реакционер Столыпин его поддел!

Видимо, мой товарищ хотел показаться перед девочками и нарочно затеял диспут на отвлеченную, взрослую тему, которыми мы, впрочем, баловались, если не регулярно, то через раз.

Кто-то заметил:

– Я что-то про распри между ними даже и не слышал...

– Ну как же! Толстой написал Столыпину длинное письмо, чтобы он не разорял крестьянскую общину, потому что она – древнее учреждение, препятствует имущественному расслоению среди земледельцев и в зародыше представляет собой реальный социализм.

Кто-то спросил:

– А что Столыпин ему в ответ?

– А Столыпин посылает ответ на полстранички убористым почерком: мол, нет страшнее рабства, чем нищета. Потому что Толстой вот на чем настаивал: пускай нищета, но чтобы земля оставалась общей, ничьей, как при социализме в СССР.

– Я что-то этой логики не пойму.

– А тут и нечего понимать! Реформа Столыпина была направлена именно что на развал крестьянской общины, чтобы через собственность на землю укрепилось кулачество и появился сельский пролетариат. Ты вообще учился в девятом классе или нет?!

– Учился. Но когда мы проходили Столыпина, наверное, я болел.

– Так вот, Петр Аркадьевич (Столыпина звали Петр Аркадьевич) выступил с такой инициативой: раздать крестьянам землю в вечную собственность, потому что собственник в лепешку разобьется, чтобы повысить продуктивность своего хозяйства, а это значит – богатство, богатство означает независимость, независимость – свободу слова, что и требовалось доказать!

– Вот именно! А Лев Толстой был мрачный догматик и фетешист, ему подавай зародыш социализма, а там хоть трава не расти, хоть подохни с голоду полстраны!

– Вообще-то такая огульная критика называется – правый оппортунизм.

– Неважно, как это называется, важно, что это всегда так: конфеты делают из всякой гадости, а из сахара получается самогон.

– Нет, я тоже не согласен с такой постановкой вопроса! Еще Прудон говорил, что собственность есть кража и влечет за собой эксплуатацию человеческого труда...

Короче говоря, таким манером мы умничали, наверное, часа два. Потом мы спохватились и стали наверстывать упущенное, да так энергично, что вечеринка закончилась довольно безобразно: кого-то тошнило в ванной, кто-то уже спал на полу, завернувшись в плетеный коврик, кого-то угораздило прожечь сигаретой фамильную подушку-думку, вышитую серебряной канителью, а Саша Преображенский повязал на шею, вместо галстука, лифчик нашего комсорга Зиновки Наметовой и ходил по квартире туда-сюда.

На утро у всех раскалывалась голова от давешнего фантастического симбиоза ликера с одеколоном, однокашники мои охали и ахали, но все-таки первая фраза, произнесенная кем-то в седьмом часу утра, была такова:

– И тем не менее Толстой прав!

Вероятно, в те годы еще очень был силен, так сказать, русский психологизм, который подразумевает не только смесь непрактичности с романтичностью, но и способность духа существовать неестественно протяженно во времени, когда и Аввакум Петров тебе современник, и реформы Александра II Освободителя – злоба дня. Где коренятся истоки этого психологизма, вывести затруднительно, может быть, действительно, климат виноват, но еще мудренее определить, какая такая инфекция поразила его в новейшие времена.

Имея в виду именно эту загадку, я взял в руки перо, обмакнул его в чернильницу и принялся за нижеследующее письмо:

«Дорогая Анна Федоровна! Как видно, в пору Вашей молодости человек, принадлежавший к высшему обществу, уже был несколько хамоват. Это видно из вашего сообщения от 4 сентября 1856 года о приеме у английского посла лорда Гренвилла, к которому народу затесалось персон на пятьдесят больше, чем было приглашено. К буфетной стойке, как Вы пишете, было не протолкнуться, половине гостей не досталось ужина, и эта половина вознегодовала на Англию много энергичнее, чем по следам поражения в Крымской кампании, которая только что отошла.

При всем том Ваши современники куда предпочтительнее моих. Люди XIX столетия, конечно, ели крошку со льдом и поди тискали зазевавшихся девиц (простите великодушно за эту вольность), но все же они по большей части витали в эмпиреях, их живо волновали

балканские дела, изыскания Мечникова, очередная эскапада со стороны графа Толстого, они мечтали о всеобщем начальном образовании и с риском для здоровья пропагандировали крестьян. А моих современников, вообразите, Анна Федоровна, ничего не волнует, ну разве что зазевавшиеся девицы, и если они мечтают, то о бесплатном пиве и дополнительном выходном.

Таким образом, русских больше нет, коли мы с Вами условились, что русские – это мы. По всем вероятностям, у нас потому нарушилась преемственность поколений, что выдохлась наша народность, понимаемая как единство пристрастий и идеалов, что народ-то просто устал тащить эту тяжкую ношу через века. Так бывает, когда человек годами копит в себе утомление, а потом у него вдруг открывается вегетососудистая дистония, и ему становится настолько ни до чего, что тошно бывает взять в руки даже расписание поездов.

И то сказать: четыреста лет, со времен Алексея Михайловича Тишайшего, русский человек только и делал, что мечтал, мыслил, стремился и сочинял. Европа занималась накоплением первоначального капитала, разворачивала фабричное производство, а у нас то *нес-тяжатели* схлестнутся с *иосифлянами*, то Аввакум Петров со товарищи устроит бучу из-за хождения «посолонь». На Западе еще в Средневековье отгремели крестьянские войны, и фермер давно утвердился в своих правах, а наши мечтательные хлеборобы в последний раз устроили аграрные беспорядки аж в 1920 году, когда в российском захолустье объявился наш последний Пугач – Антонов, тамбовский милиционер. У них лет двести никто ничего не читает и окончательно сложилась система ценностей – мощна, семья, физическое здоровье; у нас же, из-за нашей вечной отсталости, литература до самого последнего времени была предметом сакральным, и мы, в конце концов, до того домечтались, что нами неожиданно-негаданно завладели большевики; те, в свою очередь, довели страну до таких крайностей романтизма, что народ наяву грезил о той сказочной поре, когда распределение по потребностям вытеснит поднадоевшее распределение по труду. Словом, это было бы даже странно, если бы русские люди не обессилели под бременем своей народности, не уморились тащить эту ношу через века.

Отсюда – новый тип нашего соотечественника, сильно приближенный к общеевропейскому образцу. В усредненном варианте это будет такой оболтус, неначитанный, узко образованный (например, в области страхования рисков), расчетливый, энергичный, туповатый, жуликоватый, большой любитель футбола,⁶ пива и адаптированного кино.⁷ На Западе этот человеческий тип возвысился лет сто пятьдесят тому назад, после того, как отвоевалась Парижская коммуна, и вследствие падения русскости стало ясно, что он-то и есть человек будущего, которому принадлежит остаток исторического пути. Ну сколько можно, действительно, без толку ратоборствовать и стремиться, донкихотствовать и чаять приближения «золотого века», когда вот оно, счастье: мощна, семья, физическое здоровье – то есть «золотой век» во всей его удручающей простоте.

Коли так, нужно ждать второго пришествия, но не в смысле конца света, а как бы промежуточного, нацеленного на приведение новых возможностей человека в соответствие с извечной сущностью Божества. Ведь это уж так повелось, что стоит роду людскому так или иначе переродиться, как Создатель нам посылает весть: дескать, «не убий» – это уже пройденный этап, теперь давайте любить врагов ваших и благословлять проклинающих вас; или что-нибудь насчет благотворности адаптированного кино.

Но во всяком случае, Сервантес, Спиноза, Лейбниц, Достоевский – это все было лишнее, избыточное, не по Сеньке шапка и пятое колесо. Когда еще существовали русские,

⁶ Такая игра для мальчиков и подростков, которая, однако же, провоцирует взрослых людей на администрирование, рукосуйство, битье стекол и даже локальные мятежи.

⁷ Бегущая дагерротипия, примитивный вид искусства, особенно популярный среди престарелых и простаков.

судьба человечества оставалась гадательной, но в том все и дело, что русских-то больше нет».

Письмо 5-е О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭГОИЗМЕ

Можно сказать, получил от Анны Федоровны цидулку, содержащую, в частности, такое соображение...

«Молодость верит в идеал, она ищет его и старается найти в том мире, который ее окружает, и эта вера в идеал помогает ей видеть хорошие и благородные черты в людях и событиях. По мере того, как жизненные разочарования накладывают свою печать на душу, она утрачивает ту отзывчивость, которая служила ей ключом...» – ну и так далее в том смысле, что прежде люди, как правило, начинали романтически, но все равно рутина брала свое.

А у нас – наоборот: юношество только и думает, как бы им устроиться так, чтобы наинтриговать побольше средств к существованию при минимальных затратах биологической энергии, и только у смертной черты их, может быть, осенит, что дело-то не в том, а в чем-то совсем другом. В чем именно оно заключается – разговор особый, и даже не так остро стоит этот вопрос, как остро печалит отсутствие в воздухе того благородного беспокойства, которое неизбежно возбуждает вопросы такого рода. Да и откуда ему взяться, благородному беспокойству, если сумма возвышенных свойств сообщается каждому новому поколению не столько через генетический код отца, сколько через ту самую зачарованность книгой, к которой народ вдруг чудесным образом охладел? Неоткуда ему взяться, потому что старики рассказывают: де, малыши, реквизируемые государством у подрастрельных князей да академиков, кусались до крови и лупили друг друга по головам.

Это, конечно, субъективный идеализм. Вот если бы сумма возвышенных свойств передавалась из поколения в поколение по преимуществу через генетический код отца, тогда причинно-следственная связь была бы ощутительна, как струна: проклятый XX век повыбил у нас все порядочное, по-настоящему образованное, безукоризненно воспитанное, породистое и благородное, некогда составлявшее корень нации, соль земли; в результате господствующим элементом оказался Сидоров, не знающий своих прадедов по именам и, стало быть, не владеющий потомственной культурой, который при случае полезет в прорубь спасать тонущего ребенка, но при случае и зарежет за кошелек.

То есть, может быть, исполнилось пророчество Мережковского и настало царство Хама, который исповедует агрессивный гражданский стиль. Четыре тысячи лет держалось царство Сима и Иафета, доминировала аристократия крови и духа, процветали искусства, развивались гуманистические традиции, а потом верх взяли приверженцы гражданского стиля, он же мещанский и буржуазный (все три прилагательные от существительных «город-бург»), – это когда все позволено и не стыдно показаться самим собой. Например, нравятся человеку дурацкие романы Эжена Сю или песенки для дефективных – и ничего, никто встречного слова не скажет, потому что у каждого свое направление и судьба. Или так: прежде, когда существовала культура, понимаемая как система условностей, считалось, что красть – это нехорошо; а человек гражданского стиля спрашивает себя: а, собственно, почему? И действительно – почему? В том-то все и дело, что ни по чему, просто существовала такая условность, что красть предосудительно и нельзя. Или так: десять тысяч лет считалось, что человеку следует как-то прикрывать срамные места, а приверженец гражданского стиля интересуется: а зачем? И действительно – зачем? Вон собаки ходят так, не прикрывшись, и при этом никого не вгоняют в шок.

Следовательно, культура есть отклонение от нормы, заболевание природы, а исторический процесс представляет собой возвратное движение к естеству. Даже на примере отдельного человека видно, что это так: я все еще мусолю «Историю русской философской мысли», живо интересуюсь журнальной полемикой; выходя из троллейбуса, всегда подаю руку сле-

дующей за мной даме; с утра до вечера решаю коренные вопросы духа, а кушать хочется до такой степени, что, кажется, съел бы родную мать.

Мучимый этой жестокой гиперболой, я пошел на кухню и заглянул в холодильник: там лежал скукожившийся кусок сыра и помидор. Больше ничего не было, хоть шаром покати, между тем до пенсии оставалась неделя, а денег не было ни гроша. В прежние времена, когда я еще знался с моим врагом Маркелом, всегда можно было занять у него сотенную-другую, а лет десять тому назад – насобирать порожних бутылок, сдать их в приемном пункте и, таким образом, обеспечить себе хлеб насущный – теперь не то. Все же я решил прикинуть на бумаге, сколько порожних бутылок теперь требуется собрать, чтобы продержаться хотя бы сутки, и взял в руки свое ученическое перо.

Исходя из того, что одна поллитровая бутылка стоит пятьдесят копеек, минимальную сумму в пятьдесят рублей давали пять ящиков стеклотары – пять ящиков мне было решительно не собрать. Половину ящика – это еще туда-сюда, но что можно купить на несчастные пять рублей? Разве что полбуханки «Бородинского» хлеба, или восемьдесят граммов сырого сала, или два бульонных кубика, или пачку сигарет, которые делают из мешков изпод турецкого табака.

Кстати о табаке... В дни моей молодости, кажется, и папиросы были ароматней (сигареты как глупая европейская выдумка появились у нас только в конце 50-х годов), и сахар слаще, и яблоки ядреней, но главное, что вся эта продукция была родного, русского дела, то есть государство ревностно соблюдало внутриэкономический интерес. Зато, правда, в метафизическом отношении наши власти держались скорее антинародной политики, именно чересчур всемирно-согласительной и романтической чересчур. Ведь в России никогда не знали государственного эгоизма, который неукоснительно обеспечивает интересы титульной нации, а все-то у нас на уме были то Третий Рим как последний оплот православия на планете, то Дарданеллы, то славянский вопрос, то мировая революция и глобальная республика Советов от Вашингтона до Колымы...

Словом, я и не заметил, как мало-помалу мои расчеты и каракульки выстроились в письмо.

«Дорогая Анна Федоровна! – строчил я, преодолевая желудочные спазмы. – Вы меня прямо зарезали без ножа. До самого последнего времени я был отчаянным феминистом, то есть я полагал, что женская красота (в широком смысле слова) – это та самая красота, которой спасется мир.⁸ Ведь всякому очевидно, что женщина, взятая вообще, куда любвеспособней, терпимей, уравновешенней, разумней вообще взятого мужика. И что же? В Ваших посланиях за октябрь 1876 года Вы излагаете такие ужасы, что уж и не знаешь, на что надеяться в будущем и на кого в будущем уповать. Например, Вы пишете про то, как образованный слой России и наше многомиллионное простонародье в один голос требовали от правительства начать священную войну против ислама, на предмет спасения от геноцида братьев-славян балканского корня; про то, как Вам чуть не сделалось дурно от счастья, когда царь в Москве принародно решился на эту войну, чтобы снять, наконец, «восточный вопрос», завладеть черноморскими проливами, вытеснить турок из Европы обратно в Азию и сделать Константинополь губернским городом, наравне с Пензой и Астраханью – в этом-то вся и суть. А Вы с таким неистовым энтузиазмом желали открытия военных действий, что это даже странно, даже невероятно в положении русской женщины, умницы, печальницы и зиждительницы всяческого добра.

⁸ Это Федор Михайлович Достоевский, величайший наш писатель, вывел, что не чем иным, как «красотою спасется мир». Удивительно, что в своих посланиях Вы многостранично описываете жите-бытье придворных оболтусов, но ни словом не обмолвились ни о ровеснике Вашем Льве Толстом, ни о Достоевском, которого Вы пережили на восемь лет, ни о Чехове, уже написавшем волшебную свою «Степь». Видно, веревочка-то вьется издалека...

В 1854 году, когда открылась Крымская кампания, Вы были много осмотрительней, по крайней мере, Вы точно определили характер этой войны и намерения противостоящей нам Европы, всегда желавшей России зла. И как же было не понять в 1876 году, что та же самая Европа ни в коем случае не допустит решения «восточного вопроса» в нашу пользу, что мы непременно осраимся, если не по военной, то по дипломатической линии, и в конце концов останемся, как говорят картежники, «при своих»... А главное, причем тут братья-славяне? О каких братьях-славянах могла идти речь, если мы двести лет тиранили поляков, которых мы обесчестили, лишили национальной государственности и только что на кол не сажали, как турки, едва эти братья-славяне вздумают бунтовать. В том-то и дело, что война против Блистательной Порты была чисто геополитическим предприятием и преследовала ту имперскую цель, чтобы прихватить Западную Европу из-под брюшка. Недаром она, матушка, пошла на все дипломатические ухищрения и даже военную угрозу, остановила-таки русскую армию чуть ли не у стен Константинополя и по Берлинскому трактату лишила нас всех побед. Обидно, конечно: сотни тысяч здоровенных русских мужиков легли в чужую землю, целые дивизии мы поморозили за здорово живешь, многие миллионы целковых ушли на панславянское дело, а в результате нас оставили «при своих».

Одним словом, недобрая Вы и недалёковидная женщина, дорогая Анна Федоровна, я от Вас таких пассажей не ожидал. В 1876 году нужно было не восторгаться всенародному подъему в связи с освободительной войной на Балканах, а плакать горячими слезами в связи с тем, что мы такие злостные дураки.

Иное дело, что и Вы были рады обманываться, по завету Александра Сергеевича Пушкина, и тогдашнее правительство бессознательно эксплуатировало благодность русского человека, слишком живо переживающего чужие несчастья и мало пекущегося о своих. Даже, наверное, государь Александр Николаевич романтически заблуждался, полагая, что речь идет именно об освобождении братьев-славян от османского ига, а не о том, чтобы прихватить Европу из-под брюшка. Это вообще в характере русского человека: мы всегда рады обманываться и видеть вещи с желательной стороны, потому что живы одной верой, а действительность нам – ничто.⁹

Наши большевики, по-видимому, тоже учитывали эту национальную особенность, но они были честнее, или, если угодно, прямее на деле и на словах.

Они отнюдь не ставили своей целью территориальные приобретения ради территориальных приобретений, или новых рынков сбыта, или иных буржуазных глупостей, а, не лукавя, стремились распространить свою горячую веру в конечную победу коммунистического труда; так мусульмане продвигали ислам силой оружия, и Чингисхан нес народам, вплоть «до последнего моря», свою законоучительную Ясу. Поэтому большевизм – может быть, самая наша, народная религия, совершенно отвечающая свычаям и обычаям русака: тут тебе и вера в несбыточное, и непосредственный результат.

Нынче у нас господствует государственный эгоизм. Слава тебе, господи, нам теперь дела нет до благосостояния туркменского хлопководы, стран народной демократии, национально-освободительных движений и положения негров на Соломоновых островах. Правда, русские все равно мрут, как мухи в преддверии октября. Правда, государственный эгоизм потому и господствует, что, как мы с Вами вывели, дорогая Анна Федоровна, России-то нет как нет».

⁹ Я потом это соображение разовью.

Письмо 6-е О ВЕРЕ

Все утро склеивал чашку северского фарфора, которую третьего дня нашел на помойке, и, кажется, преуспел. У чашки была отколота часть стенки, как раз по портрету королевы Марии-Антуанетты, и мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы восстановить вещь в заданной красоте.

Интересное совпадение: накануне я вычитал в очередном послании Тютчевой презабавный анекдот про фрейлину Марию Анненкову, выдававшую себя временами за принцессу Бурбонскую, временами за несчастную французскую королеву Марию-Антуанетту; фрейлину потом на щадящих условиях выслали за границу и она как-то незаметно исчезла с лица земли. К этому анекдоту были также прикосновенны великая княгиня Александра Иосифовна, до такой степени сбрендившая на столоверчении, что у нее на этой почве даже сделался выкидыш, и камер-фрау Берг – товарка Анненковой по изгнанию, дама полоумная, отчего-то решившая, что ее муж умер, и носившая по нему траур, хотя недоумевающий супруг постоянно слал ей письма с уверениями, что он жив. Вся эта мистика пришлась настолько к случаю, что я заподозрил таинственную связь между фарфоровой чашкой, найденной на помойке, и сообщением Тютчевой о чудесах веры, которые произошли на ее глазах.

Практика убеждает, что совпадения случаются неспроста. Патриарх Никон сдвинул с мертвой точки русскую религиозную мысль, и в результате Петр I совершил государственный переворот, модернизировав Россию по нижнесаксонскому образцу. Государь Николай II женился на принцессе из Дармштадтского дома, издавна зараженного гемофилией, – и приказала долго жить насквозь износившаяся страна. Мой враг Маркел накануне, по-видимому, выпил лишнего, не вышел, так сказать, на работу, и мне досталась чашка с портретом королевы Марии-Антуанетты, которой положительно нет цены. Поэтому в итоге я набрел на такую мысль: совпадения – в некотором роде источник духовной жизни, поскольку они суть миниатюрные чудеса; в свою очередь, чудеса не столько подогревают религиозное чувство, сколько они суть частные эманации веры, а без веры у нас нельзя. Россия – такая страшная страна, что без веры русскому не прожить.

Понятное дело, я решил исполнить свое давешнее обещание и развить в письме к Тютчевой свой взгляд на вероспособность и чудеса. Но только я взялся за перо, как увидел в окошко карету скорой помощи, стоявшую у соседнего подъезда, и трех громадных санитаров, скучно глядевших по сторонам. Я ужаснулся, подумав: «Уж не за мной ли это?» – и пошел запереться на дверную цепочку и щеколду из чугуна. Некоторое время я тихо сидел на кухне, прислушиваясь к звукам, доносившимся извне, но мало-помалу успокоился и принялся за письмо.

«Дорогая Анна Федоровна! – писал я. – Судя по всему, Вы женщина серьезно религиозная; тем более удивительно, что Вас одолел скептицизм в связи с делом Марии Анненковой, вообще не свойственный христианским натурам, когда дело доходит до мистики, до чудес; тем более что история этой девушки возбудила живейший интерес в государе с государыней, которые были, во всяком случае, неглупые люди, и в императоре Наполеоне III, который тоже был, во всяком случае, не дурак. А девушка-то, хотя бы и на сомнительных основаниях, всего-навсего уверовала в то, что она принцесса Бурбонская, существо королевской крови, волею рока заброшенная в полудикую заснеженную страну. А Вы сами разве не поверили в магнетизм после первого же сеанса столоверчения, когда Вас трогал за платье дух Александра Македонского? – так откуда же этот холодный, неженственный скептицизм?!

Вера, дорогая Анна Федоровна, на то и вера, чтобы не соображаться с какими бы то ни было доводами «за» и «против», что она есть упование, которое не опирается ни на что. В этом смысле человек верующий – явление не совсем нормальное, будь предметом его веры хоть бессмертные души, хоть распределение по потребностям, поскольку силой веры тут желаемое превращается в действительное, субъективное в объективное, эфирное в результат. В этом смысле вера есть талант, который только тем отличается, например, от поэтического дара, что первый намного шире распространен.

Но вот какое дело: если способность к поэтическому творчеству – это аномалия с точки зрения органической химии, то, может быть, и вероспособность представляет собой в некотором роде отклонение и дефект... Или, наоборот: дар веры – это такая же фундаментальная составная понятия «человек», как нравственность и душа. Ведь люди вечно во что-нибудь да верили: в загробную жизнь, духов леса, богов-олимпийцев, Перуна и Макошь, в Отца, и Сына, и Святого Духа, в мировую революцию, наконец, в демократические свободы как решение всех проблем.

Но главное, они искони веровали в Творца, и даже если принимали за Него миллионы лет физической эволюции, то все равно Он был для них материальной силой, спасительной во всех отношениях, поскольку всегда отвращал от зла.

И вот люди верили, верили и вдруг перестали верить, и сразу образовалась какая-то безвоздушная пустота. У англосаксов, положим, она отчасти заполняется родовой традицией и рутинной религиозностью, укоренившейся наравне с гигиеной тела, но в России ей заполняться нечем, и это именно что абсолютная пустота. Между тем русский человек, если чем и был силен, так только своей вероспособностью, которая иногда определяется как ориентация на авось. Поэтому мы искони и вершили самые невероятные, фантастические дела. Например, Петр I за какие-нибудь двадцать лет превратил Россию в могучую европейскую державу из полутатарского царства, из геополитического ничто. Наши предки уничтожили непобедимую шестисоттысячную армию Наполеона Бонапарта, не выиграв ни одного сражения, если не считать избиения младенцев при переправе через Березину. Горстка религиозных фанатиков из большевиков ухитрилась в две недели развалить громадную империю, почти моментально возродить ее на свой лад и после воспитать самый образованный народ в мире из потомков бородачей, которые не понимали фразы, если в ней было больше четырех слов.¹⁰ Наконец, сырые и запуганные, мы так истово верили в «коммунистическое завтра», что нам нипочем было унылое сегодня, тем более зубодробительное вчера. Ну разве это не чудеса?!..»

На этом месте я вынужден был прерваться, потому что мне вдруг припомнился один случай из моей первой молодости, вернее, некогда услышанные, тогда непонятые, грозно пророческие слова.

Дело было на первом курсе университета, сразу после зимних студенческих каникул, – стало быть, в середине нашего гнусного февраля. Предстал я тогда перед нашим факультетским комитетом комсомола, который, как на зло, всегда заседал в 13-й аудитории, по обвинению, ни мало ни много, в измене родине, хотя моя вина формулировалась много мягче, так что «измена родине» – это по существу. В действительности же 25 января, на Татьянин день, под занавес интернационального вечера, обычно устраиваемого в честь студенческого праздника, один хорват всучил мне несколько брошюр уклончиво антисоветского содержания, которые я, ничтоже сумняшеся, засунул во внутренний карман еще отцовского пиджака. Не успел я выйти из актового зала, как меня обступили дружинники (тогда они еще называ-

¹⁰ Это Вам покажется невероятным, дорогая Анна Федоровна, но в 20-е годы 20-го же столетия Россия стала едва ли не единственной страной в мире, где читать и писать обучили всех. Мало того, что в начале 21-го столетия у нас появились новые безграмотные, число которых неуклонно растет из года в год, еще и оказалось, что всеобщее среднее образование не имеет никакого отношения к культуре и не решает ни одного вопроса духовного бытия.

лись «бригадмилльцами») с резинового завода, обыскали, реквизируют подрывную литературу и впоследствии донесли об этом инциденте нашему главному комсомольскому вожаку.

Так вот, предстал я перед комитетчиками: стою вольно, даже подчеркнуто независимо, хотя от живота к горлу поднимается отвратительный холодок. Кто-то меня спрашивает, сейчас уж не вспомню кто:

– Как же так получается, что советским студентом, комсомольцем запросто помывают антикоммунистические круги?

– То есть? – не понял я.

– Ну как же! Люди ходят на студенческие вечера, песни под гитару поют, танцуют, заводят шашни, а кое-кто вместо этого участвует в распространении клеветнической литературы, которая порочит наш социальный строй.

– При чем тут клеветническая литература? – говорю я. – Этот хорват просто дал мне почитать несколько брошюр по теории классовой борьбы в новейшие времена.

– Твой хорват тоже от ответа не уйдет. Он еще узнает, что такое кузькина мать и Северный Казахстан. Только про него сейчас разговора нет. Ты давай про себя рассказывай, как ты контрабандой заносил идеологическую заразу в нашу студенческую среду!

Я разозлился, и сразу куда-то девался отвратительный холодок.

– Это уже, – говорю, – передергивание фактов и явная клевета! Сознаюсь: по доброй воле я взял у хорвата антисоветские брошюрки, но с какой целью? Совсем не для распространения я взял эти брошюрки, а для того, чтобы познакомиться с аргументацией классового врага. Вы понимаете, какое дело: ведь нас держат на голодном пайке в смысле аргументации классового врага. Радиостанции глушат, буржуазные газеты все в спецхране, за границу не попадешь, а человеку все-таки интересно, чем живет-дышит на Западе молодежь... А вы хотите, чтобы мы участвовали в идеологической борьбе практически безоружными, чтобы мы шли от победы к победе практически на фуфу! Поэтому я решительно выступаю за свободу слова и обмен идеями между студенчеством разных стран. Я как большевик-ленинец хочу вам напомнить, товарищи, что в 20-х годах у нас спокойно печатали и белогвардейские мемуары, и «Двенадцать ножей в спину революции», и прочую враждебную ерунду. Поэтому мы были в то время по-настоящему идеологически оснащены и марксизм-ленинизм покорил весь мир!

Тут-то комитетчик, допрашивавший меня, и произнес свою грозно пророческую максиму:

– Когда, – говорит, – наступит свобода слова, у нас не за книжки возьмутся, а за ножи. «Как в воду смотрел, черт!» – подумал я, тяжело вздохнул и принялся за перо.

«Таким образом, дорогая Анна Федоровна, вера и чудеса так же сопряжены, как в двигателе внутреннего сгорания (его еще при Вашей жизни изобрел француз Ленуар) сопряжены давление смеси и вращательное движение колеса. То есть силой веры на земле явлены такие искрометные чудеса, на какие не способна даже самая острая научно-техническая мысль, например, феномен бессребреничества, который резко претит нашему естеству. В свою очередь, чудеса укрепляют веру; разве не чудо – книга, дающая счастье общения с лучшими умами человечества, наша этика, музыкальная культура, возникшая неведомо из чего, а они столетиями укрепляют нас в вере, что человек – это не то, что ходит, ест и думает, как бы чего украсть.

Так, может быть, и ваша несчастная Анненкова была отнюдь не пройдоха и не сумасшедшая, а настоящая принцесса Бурбонская, волею рока занесенная в полуварварскую заснеженную страну. Или она силой веры превратилась в принцессу Бурбонскую, как, может быть, мы силой веры создали себе Бога, который действительно, на практике, самым материальным способом контролирует наши помыслы и дела. Во всяком случае, мне и самому иногда кажется, что я – не я, а пуговка от штанов.

В общем, как представишь себе, что будет с миром, когда вероспособность отомрет на манер вертикального века, так волосы становятся дыбом и, точно от приступа удушья, взор застигает мгла. Ах, если бы Вы знали, дорогая Анна Федоровна, как хочется назад, к Вам, в Ваш милый XIX век, когда Чехов молод и еще не написал «Степь», красивые люди сумерничают при модных спермацетовых свечах, из окон, затененных белой сиренью, доносятся звуки рояля и можно с кем угодно поговорить об этимологии возгласа «исполать».

Письмо 7-е ПОСЛЕДНЕЕ

«Дорогая Анна Федоровна! Я вынужден в одностороннем порядке прекратить наладившуюся было переписку с Вами, затем что в последнем Вашем послании я обнаружил пассаж, который меня донельзя расстроил и оскорбил. Помилуйте: Вы пишете, что «Герцен, конечно, мерзавец» – и это о великом нашем писателе-публицисте, крупном мыслителе демократического направления, безукоризненно порядочном человеке и пострадавшем за идеал... Нет, с женщинами иметь дело нельзя, поскольку они слишком подвержены посторонним влияниям, и симпатии (равно, как и антипатии) застят им истинный ход вещей.

Хотя, по трезвому рассуждению, неизбежно приходишь к выводу, что с Герцена-то все и началось. Это уму непостижимо: с одной стороны, Александр Иванович пришел к тому убийственному заключению, что цель прогресса, сиречь исторического развития человечества – мещанин, по-ихнему, «буржуа»; а с другой стороны, он деятельно способствует этому прогрессу, объективно работает на то, чтобы примерно к 2310 году человечество окончательно омещанилось, то есть ослепло, одурело, озлобилось и вернулось-таки к своему первобытному естеству. Впрочем, это вполне в нашем национальном характере – бытовать как-нибудь наперекосяк, всячески вопреки: фабрикант Савва Морозов давал деньги на революцию; сын гражданского генерала и русский революционер Ульянов-Ленин терпеть не мог русских и резал их, как поросят; мой враг Маркел постоянно рассуждает о бренности бытия, но ему ничего не стоит увести из-под носа у товарища сотовый телефон...

Так вот, с женщинами дела иметь нельзя. Лучше я буду с кем-нибудь другим переписываться, лицом мужского пола и представителем более отдаленного прошлого – ведь я весь в прошлом, я до такой степени в прошлом, что мечтаю набить морду хану Батыню, маршалу Бертье и председателю приемной комиссии московского отделения Союза писателей, который умер четыре года тому назад. Например, я хотел бы переписываться с апостолом Павлом, тем более что в своих «Посланиях коринфянам» он недвусмысленно намекает на адресат. Нужды нет, что я не коринфянин; поскольку русских больше нет, то пускай я буду коринфянин в известном смысле, именно в том смысле, что коли русских нет, то это решительно все равно».

Приложение

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛУ ПАВЛУ ОТ КОРИНФЯН

Накануне вечером я все-таки насобирал с десятков порожних бутылок из-под пива и с утра пораньше отправился на наш оптовый рынок купить себе два яйца на завтрак, но задержался у мусорного контейнера на задах дома № 16а. Ничего интересного я не нашел, так... попалась жестяная коробка из-под сигар, сильно поношенный валенок на левую ногу и детский калейдоскоп.

Позавтракав, я сразу же принялся за письмо апостолу Павлу, но как только я вывел «Святой отец!..» – кто-то позвонил в дверь. Я оробел, с полминуты ждал, притаившись, повторного звонка и когда он, наконец, прозвучал, – весь трепеща, пошел в переднюю открывать.

На пороге стоял Маркел. Вид его был ужасен, жалок и чуть смешон: из носа двумя мутными струйками текла кровь, волосы были взъерошены, как у школьника, которому только что дали подзатыльник, глаза сухо плакали, но главное, он был без штанов и от его бледных ног почему-то курился пар.

– Силы небесные! Что это с вами?! – воскликнул я.

Маркел икнул, всхлипнул и отвечал:

– Да вот, побили какие-то пацаны. Совсем мальчишки, лет по пятнадцать им, наверное, или даже того меньше, – я со страху не разобрал. Занимаюсь я это мусорным баком, что за табачным ларьком, а они подходят и говорят...

– Погодите, – сказал я, впуская Маркела в дом; мой враг прошел на кухню, сел у окна на табурет и стал вытирать нос моим полотенцем, а я тем временем запер дверь на два замка и щеколду из чугуна.

– Ну так вот, – продолжал Маркел, – подходят и говорят: «Ты чего, старый козел, позоришь наш знаменитый город...» – и сразу каким-то тяжелым предметом по голове! Потом зачем-то штаны с меня сняли, еще минут пять били по чем ни попадя, и ушли. Интересно: откуда у них этот локальный патриотизм?..

Он помолчал некоторое время, потом потупился и сказал:

– Послушайте: нет ли у вас запасных штанов?

Штаны у меня были единственные, из «чертовой кожи», несносимые, тем не менее я долго рылся в платяном шкафу и, на счастье, обнаружил какие-то бежевые рейтузы с дырами на коленях, которые, должно быть, завалились от моей отставной жены. Пока Маркел натягивал их на себя, я приготовил чай.

Усевшись друг против друга за кухонным столом, мы долго молчали, как бы думая о своем. Маркел обеими ладонями обхватил свою чашку, сделал несколько осторожных глотков, порозовел от блаженства и произнес:

– Вы знаете – страшно жить! Скучно, противно, одиноко – это все определения из второго десятка, а самое-то главное, что страшно, – как в заводи, где водится крокодил. И даже, поверите ли, не столько за себя страшно, как вообще. Ведь то, что сегодня вытворяют наши соотечественники, особенно молодежь, ведь это еще цветочки, – ягодки впереди!

– Я такой перспективы не исключаю, – легко согласился я. – Чего же вы хотите... Ведь это все потомки сидельцев москательных лавок, которые всем видам искусств предпочитали мордобой на Москве-реке. Видите ли, потомство присяжных поверенных и выпускников Пажеского корпуса в силу разных обстоятельств развеялось по пути...

– Так что же делать?! – ужаснувшись, спросил Маркел.

– Ну, во-первых, как можно реже выходить из дома. Во-вторых, хорошо бы придумать себе занятие, отвлекающее от российской действительности, пристраститься к какой-нибудь

захватывающей затее, изымающей из объективной реальности, как, например, водка и преферанс. Я, например, время от времени переписываюсь с выдающимися людьми.

– Интересно... – сказал Маркел.

– Еще как интересно-то! – сказал я. – Тут я недавно вычитал у апостола Павла такое, что третий день никак не приду в себя! Разумеется, хотелось бы как-то обмозговать это дело на бумаге, соотнести апостольское откровение с текущим моментом и письменно ужаснуться на результат...

Слово за слово, мы с Маркелом договорились тут же сочинить коллективное послание апостолу Павлу и принялись за дело так азартно, как если бы это были именно водка и преферанс. Я вслух формулировал соображения и записывал их вчерне, Маркел вносил поправки, спорил и капризничал, при этом постоянно дергая коленями, которые, как намащенные, лоснились из-под рейтуз.

Вот что у нас вышло в конце концов:

«Святой отец! Нужно отдать Вам должное: нельзя было острее поставить вопрос о том, что есть человек как метафизическое, духовное существо. Да еще в «Первом послании к коринфянам» Вы сразу этот вопрос и открыли, и закрыли на вековечные времена. Но вот какая незадача: впоследствии оказалось, что человечество, на беду, таит в себе значительную энергию развития и деградирует либо прогрессирует в зависимости от состояния производительных сил, или от характера политических режимов, или от изменений рельефа местности, или неведомо от чего. То есть качество и направление движения слишком подвержены случайным влияниям, и, разумеется, было бы идеально, если бы хомо сапиенс застыл бы в определенной точке нравственного роста, а лучше всего – в положении христианина первого призыва, однако же на такие фокусы, как известно, был способен только Иисус Навин.

В ракурсе этого пожелания весь ход исторического развития позволительно осудить как бессмысленное и ненужное, по нашей национальной пословице «От добра добра не ищут», ибо у истории может быть только одна разумная цель – человек совершенный, образ и подобие совершенного Божества.

Вероятно, так оно и случилось бы, то есть человек точно застыл бы, накрепко затвердел в той, по сути, конечной точке нравственного развития, когда он познал единого Бога и его закон, кабы не проклятая свобода воли, которая несомненно представляет собой залог будущего Пришествия и Суда. Но поскольку Создатель не мог не оделить нас всеми своими качествами, включая абсолютную свободу, постольку виновных нет.

Нам, правда, от этого не легче, и до слез больно отслеживать движение человечества за последние две тысячи лет, которое всячески провоцирует свобода воли, вплоть до рубежа III тысячелетия, когда взяла-таки верх «мудрость мира сего», когда хомо сапиенс, постепенно возвращаясь к животным началам жизни, мало-помалу теряет право на звание «человек». Ведь вот Вы пишете нам, святой отец: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом», – и, таким образом, даете исчерпывающее определение феномену – «человек».

Предположительно, мы не так удалимся от истины, если положим сие откровение на наши низменные слова. Итак, человек – это ненормальное млекопитающее, более или менее безразличное к материальным благам, нерасположенное к насилию в любом виде и горячо верующее в то, что смысл жизни заключается в приращении красоты. Спрашивается: безумие это перед «мудростью мира сего»? – конечно, безумие, даже и буйное, против которого, по логике вещей, хорошо действует инсулин. Недаром Вы пишете, святой отец: «сделались мы сором, отбросами для всех по нынешним временам...»

(В этом месте Маркел всхлипнул и кончиками указательных пальцев протер глаза.)

«И это немудрено, потому что «мудрость мира сего» разъясняется очень просто: мудро сбросить пару атомных зарядов на маленькое островное государство и в двое суток победоносно свернуть войну; мудро сочинить серию романов про половые извращения у собак,

потому что многомиллионный плебс охоч до сочинений такого рода; мудро целый город заразить гепатитом А, чтобы потом за бесценок купить завод минеральных вод; наконец, в высшей степени мудро взять займы деньги и не отдать...»

(В этом месте Маркел сказал:

– Все бы ничего, но меня смущает терминология, этот поповский зашоренный лексикон. Все Бог да Бог, а почему не Природа? не Космос? не Ход вещей?.. Я, как атеист, хочу заявить протест!

– Послушайте, – сказал я, – вы способны ударить человека по лицу?

– Нет.

– Тогда какой же вы после этого атеист?!)

«Но именно этого рода мудрость и есть безумие перед Богом. Таким образом, мир на наших глазах раскололся еще и по следующему признаку: они думают, что мы сумасшедшие, а мы думаем, что – они; для них культура – это носовой платок в пистолетном кармане, а для нас – живое дыхание Божества. Конечно, можно было бы предположить, что Бога нет и не было никогда, если бы из века в век на земле не ютилось сравнительно многочисленное племя блаженных, которые горячо верили в то, что смысл жизни заключается в приращении красоты...»

Ну и так далее, вплоть до того времени, когда Маркел начал позевывать, и я решил отложить перо. Мы перечли послание, повздыхали и, точно сговорившись, стали смотреть в окно. Чего-то не хватало, какая-то нас охватила неудовлетворенность, как это бывает, если ты чувствительно недоел. Тогда я предложил:

– А давайте заодно исследуем этимологию возгласа «исполать»?..

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЧНОСТИ

На реке Оке, километрах в десяти ниже Калуги, некогда стояло сельцо Пеньки. В лучшие времена тут насчитывалось до пяти десятков дворов, имелась своя мельница на протоке, принадлежавшая братьям Мудыкиным, мелочная лавка, питейное заведение (впоследствии чайная «Привет»), и невысоко светилась над соломенными кровлями церковь во имя Покрова Богородицы, всегда такая свежесвеженная, чистенькая, какой у хороших хозяек бывает печь.

Здесьние мужики сеяли рожь, овес, коноплю на подати, особым своеобразием не отличались и даже выпивали по праздникам не так безобразно, как это водится по иным-прочим весям нашего обширного государства, и даже усадьба помещиков Богомоловых так у них и стояла целехонька до самого 1971 года, когда ее артельно разобрали на кирпичи.

Ляд его знает, народ наш загадочный, но, может быть, именно по причине такой умеренности из Пеньков не вышло ни одного замечательного деятеля, который так или иначе благодетельствовал бы обществу и прославил свое имя на всю страну. Впрочем, одно время ходили слухи, что будто бы как раз в Пеньках родился знаменитый изменник Пеньковский, выдавший англичанам такое множество военных секретов, что его якобы в сердцах сожгли заживо в крематории Донского монастыря. Конечно, у нас всякое может быть, но вообще народ в Пеньках жил благонамеренный и покорный, и только летом 29-го года, когда из Калуги приехали сколачивать колхоз, здесьние мужики трое суток прятались в лебеде.

Однако же время шло, и в результате многочисленных катаклизмов, но главное, по причине социалистических преобразований в аграрном секторе, от сельца Пеньки не осталось, без малого, ничего. То есть остались почерневшие изгороди, заросшие крапивой, два мельничных жернова на дне протоки, отлично видные в солнечную погоду, две избы жалкого обличья да церковь Покрова Богородицы с пустыми амбразурами окон и без крестов (ее в 71-м году не удалось распатронить на кирпичи).

В одной избе, крытой дранкой, долго жила баба Ольга, древняя старуха, еще помнившая торжества по поводу трехсотлетия дома Романовых, которая тем не менее и воду сама таскала из родника, и дрова колола, и держала на задах убедительный огород; были у нее две великовозрастные дочери – одна в Липецке, другая где-то на Украине, но они в Пеньки никогда не казали глаз. Когда баба Ольга померла, бригадир Громов повесил на дверь ее избы амбарный замок, заколотил крестообразно окна и за труды снял с печной трубы железного петушка.

В другой избе, крытой дранкой же, живет Николай Сироткин, мужик еще не старый, одинокий, пьющий, который курит патриархальные самокрутки из газетной бумаги, так и не завел себе огорода, но зато держит с десяток кур. Много лет тому назад его выслали в Пеньки на поселенье за тунеядство, и с тех пор он перебивался с петельки на пуговку, то работая скотником на свиноферме, то сторожем при зерносушилке, а то вообще не работал, и тогда месяцами сидел на самосаде, своих яичках и вареном просе, которое приворовывал в соседнем колхозе «Луч». Человек он был неколоритный, обыкновенный, но, правда, иногда мысленно разговаривал сам с собой; он почему-то считал, что страдает серьезным нервным расстройством, и оттого об этом своем чудачестве не рассказывал никому.

И вот вскоре после Обратно-буржуазной революции 1991 года какой-то калужский прохиндей купил в Пеньках два гектара сельсоветской земли и, судя по разметке, вздумал построить себе дворец. На самом деле это был владелец вагоноремонтного завода Владимир Иванович Петраков из бывших комсомольских работников среднего звена, малый незлой, выдумщик, аккуратист, даже законник, хотя в известном смысле и прохиндей. Из его вечных фантазий, которые он неукоснительно проводил в жизнь, можно упомянуть хотя бы такую:

чтобы не платить лишнего за электричество, он перевел завод на автономное энергоснабжение, воспользовавшись напором фекальных вод.

Как и полагается настоящему выдумщику, Владимир Иванович не с того начал стройку, с чего все начинают стройку, а решил первым делом выкопать бассейн, да еще необыкновенной, избыточной глубины. Может быть, он планировал построить потом десятиметровую вышку для прыжков в воду или купить миниатюрную субмарину для увеселения гостей – неизвестно, но осваивать свой участок он начал именно с бассейна избыточной глубины. Долго ли, коротко ли, появились строители, огласившие Пеньки какой-то ненашей, гортанной речью, привезли экскаватор из колхоза «Луч», такой ветхий, что своим ходом он уже не передвигался, и в три дня вырыли котлован. Как водится, сколотили опалубку, залили бетон, которому дали выдержку, после замазали его битумом, поверх оклеили стены бассейна какой-то черной лентой шириною в рулон обоев и оставили сооружение доходить. Такое представляло собой иссиня-черную прямоугольную яму со сторонами в двенадцать метров и глубиной в десять метров, которая зияла посередине деревни, навевая задумчивость и испуг.

Поскольку гидротехники должны были появиться на объекте только через две недели и оставались без надзора бетономешалка, финские совковые лопаты, четыре мешка цемента, накрытые рубероидом, и металлическая сетка для просеивания песка, Петраков решил нанять Николая Сироткина в сторожа. Чувствовалось в этом шалопае что-то ненадежное, но, с другой стороны, за ним были те неоспоримые преимущества, что он жил в двух шагах от постройки, никак не был занят в сельскохозяйственном производстве и его услуги наверняка стоили считанные гроши.

Стало быть, заходит Владимир Иванович в избу к Николаю, шевелит носом от приторного зловония, хотя в доме только и смердило немного что старыми ватниками, наваленными на печи, прокисшим супом из рыбных консервов да махоркой, и говорит: так и так, говорит, не хотите ли, любезный, пойти ко мне в сторожа, плачу столько-то и столько-то, питание за ваш счет... Николай смолчал.

– Зарплата, что ли, не устраивает? – зло спросил его Петраков.

– Нет, почему... – ответил словно бы нехотя Николай; он действительно не знал счета деньгам и безоговорочно согласился бы на такую редкую синектуру, даже если бы за работу ему посулили по банке тушенки в день; замаялся же он оттого, что почувствовал в Петракове что-то непреодолимо чужеродное, ненадежное, подразумевающее подвох.

Как бы там ни было, ударили по рукам. Уходя, Петраков сказал:

– Станный вы какой-то народ – извините, конечно, за прямоту. Как будто не русские, ей-богу! Слова от вас путного не добьешься, воняет везде черт-те чем, а рожки такие, точно каждый изобретает велосипед! Но главное, деньги вам не нужны, вообще вам ничего не нужно, только бы палец о палец не ударять!

«Сам ты больно русский, как я погляжу!» – мысленно сказал себе Николай.

Так как Петраков выдал ему небольшой аванс, он в середине дня сходил в центральную усадьбу, купил в кооперативном магазине вермишели, хлеба, рыбных консервов и четыре бутылки «казенной» водки, но пировать, по здравому размышлению, погодил. Сначала он отправился к бассейну, обошел его по периметру, дивясь нелепой фундаментальности сооружения, обревизовал поднадзорное добро и потом долго строил себе шалашик, в котором он вознамерился бодрствовать по ночам, как это издавна ведется у сторожей. Места кругом были безлюдные, и днем он злоумышленников не ожидал, однако же ночь, по его убеждению, кого угодно могла довести до греха, поскольку слишком уж обездоленная, никчемная пошла жизнь. «Вон мужики из «Луча», – мысленно говорил он себе, обдирая елку на лапник, – уж на что, кажется, совестливый народ по мирному времени, и те вырыли ночью пять-

десять метров водопроводных труб, сдали их в приемный пункт и второй месяц держатся на плаву».

Вечером того же дня, накануне своего первого дежурства, он выпил дома граненый стакан водки, закусил свежей горбушкой, сдобренной бычками в томатном соусе, прихватил с собой непечатую бутылку «казенки», чайник с водой и отправился сторожить. Был конец августа, но дни стояли сухие и жаркие, и поэтому из амуниции ему понадобились только ватник под голову, легкое одеяло и милицейский свисток, который он давно выменял у здешнего участкового за пять килограммов сахарного песка.

Ночь была светлая и теплая, но Сироткин для приятности все-таки развел себе костерок. Он лежал на охапке овсяной соломы, подперев голову кулаками, и смотрел то на огонь, то на луну, высоко стоявшую в бледном небе, и ни о чем не думал, потому что отродясь ни о чем не думал, а только мысленно соображался с обстоятельствами внешнего бытия. По деревенским меркам, он был мужик довольно осведомленный и даже знал точное географическое положение Москвы ($55^{\circ}46'$ восточной долготы и $35^{\circ}20'$ северной широты), но разного рода сведения никогда не складывались в его голове таким образом, чтобы спровоцировать движение мысли, устремленное за рамки внешнего бытия. То есть он мог подумать, увидев одинокого бычка: «Вон чей-то бычок отбился от стада», – или: «Стопроцентно начнутся затяжные дожди», если с востока потянет сыростью и горизонт затянут курящиеся облака.

Время от времени он отхлебывал из своей бутылки, запивал водку водой и вскоре осоловел. Уже пала склизкая роса, чувствительно похолодало и начало клонить в сон. Чтобы взбодриться, Николай подбросил сушняка в костерок и пошел проведать поднадзорное добро: бетономешалка, мешки с цементом, финские совковые лопаты и металлическая сетка для просеивания песка – все было на месте, и тишина вокруг стояла такая, что даже ночная свиристящая мелочь не давала о себе знать. Николай постоял-постоял и так, от нечего делать, стал по периметру обходить бассейн, но не газоном, как в прошлый раз, а самой бетонной бровкой, которая черно лоснилась из-за росы. Немудрено, что спяну он поскользнулся и ухнул вниз.

По той причине, что русский бог любит детей и пьяных, сильно он не разбился, а только повредил себе левую руку в запястье и набил огромную шишку на голове. Довольно долго он валялся на дне бассейна без сознания, но ближе к полудню, когда солнце начало палить и от жара стало трудно дышать, мало-помалу пришел в себя. Голова кружилась, подташнивало, резко болела рука в запястье и во всем теле стояла какая-то тяжелая ломота. Сироткин приподнялся, опершись на правую руку, сощурил глаза против слепящего солнца и осмотрелся по сторонам, более или менее хладнокровно оценивая свое положение: затененная часть бассейна еще была склизкой от росы, небо показалось особенно высоким, вокруг стояли иссиня-черные стены, грозно-неприступные, какими, вероятно, в старину обносили торговые города. В общем, положение его мало беспокоило, поскольку он не надеялся пропасть посредине деревни, хотя бы и нежилой, поблизости от большой русской реки, полной жизни, в десяти километрах от областного города Калуги, в центре сравнительно цивилизованной страны, в которой копошатся многие миллионы ребятишек, женщин и мужиков. Тем не менее он с четверть часа пристально осматривал дно бассейна, бог весть на что надеясь, – вероятно, надеясь обнаружить какое-нибудь подспорье вроде обрывка веревки или обрезка доски или острый предмет, которым на крайний случай можно было выдолбить выемки в стене и по ним выкарабкаться на волю из западни. Но горластые строители прибрали дно бассейна аккуратнейшим образом, видимо, под присмотром самого Петракова, ибо Николай знал по опыту, что безнадзорные работяги всегда оставляют после себя пропасть разного мусора, как-то: обрезков, обрывков, стружки, испорченного инструмента, банок, бутылок, ветоши и гвоздей. Теперь же, вместо мусора, дно бассейна почти сплошь облепили мириады лягушек, свалившихся вниз по дурости, как и он; вдобавок в правом дальнем углу прита-

илась большая коричневая крыса, свернувшаяся комочком и косившая на Николая немигающий черный глаз. Вдруг он почувствовал, что сидеть ему как-то неловко, остро; он сдвинулся чуть влево и вытащил из-под себя половину металлической скобы, какими плотники скрепляют каркасы из бруса или бревен, приятно удивился последовательности рабочего класса и спрятал находку себе в карман.

Время уже шло к обеду, солнце распалилось до максимума возможного, и битум, подтекавший из-под пленки, распространял удушливый аромат. Кряхтя, Николай устроился на корточках у южной стены бассейна, куда не проникали солнечные лучи, и стал думать о том, что наверху у него еще есть в запасе граммов сто пятьдесят водки, которая, поди, нагрелась на солнце до рвотной температуры, что теперь хорошо было бы поесть вермишели с бычками в томатном соусе, что дома он, кажется, оставил невыключенным радиоприемник и что вода в Оке чудесно как хороша. Его уже мучила жажда, особенно чувствительная с похмелья, и он то и дело глотал слюну.

Скучно ему не было; когда еще до высылки по статье о тунеядстве он получил условный срок за покражу мотка колючей проволоки из воинской части и его два месяца продержали в следственном изоляторе, он точно так же, как теперь, на корточках смирно сидел на нарах, тупо наблюдал за соседями по камере, вспоминал разные любопытные факты, вроде географического положения Москвы, и не испытывал при этом ни томления, ни тоски. Уже давно прошел обеденный час, спала жара, и стали наваливаться сумерки, а он все сидел себе на корточках и сидел. Ему только казалось странным, что за весь день он не услышал ни одного характерного звука, выдающего присутствие человечества на земле.

На ночь он устроился в ближнем углу, предварительно разогнав лягушек и положив под голову свои кирзовые сапоги. Небо было чистое, и звезды обильно усыпали темно-синий квадрат, нависший над ним, как полог из драгоценного полотна; звезды то ли подмигивали, то ли переливались, и почему-то казались такими близкими, что до них можно было доплюнуть, если хорошенько напрячь язык.

Утром Сироткин проснулся от тянущего ощущения голода и попытался было сглотнуть слюну, но во рту было сухо и шершаво, точно он лизнул наждачное колесо. В голове, впрочем, было светло, тошнота отступила, но левое запястье по-прежнему ломало и как-то жгло. Николай сел на корточки и осмотрелся: с половиной лягушек передохло, крыса все так же недвижимо, как чучело, сидела в своем углу. Вероятно, за ночь поменялся температурный режим, поскольку стены и дно бассейна теперь лоснились не от росы, как давеча, а от жара, и букет ненормальных запахов сильно мешал дышать. От нечего делать он обшарил свои карманы, вытащил обрубок плотницкой скобы, старый двугривенный, жестяную пробку от водочной бутылки, внимательно осмотрел свое имущество и решил, что обрубком скобы, пожалуй, можно надырять выбоины в стене и, таким образом, выбраться на волю из западни. Он поднялся на ноги и принялся за работу: оборвал скобой пленку, счистил с бетона битум, однако же сам бетон уже так схватился, что за два часа работы, до крайности его вымотавшей, он только проделал в стене бассейна выбоинку глубиной сантиметра в два. Кабы у него и левая рука была рабочая, то еще можно было рассчитывать на успех.

Николай опять уселся на корточки и стал жадно прислушиваться к звукам воли, но, кажется, он до того наголодался и ослабел от жажды, что у него в ушах стоял ровный гул и он вряд ли расслышал бы сколько-нибудь отдаленные голоса. Тем не менее он не оставлял надежды на помощь со стороны: могла заехать в Пеньки автолавка, хотя могла и не заехать, поскольку обыкновенно это случалось не чаще одного раза в месяц; трактор могли послать для сбора валков овсяной соломы, хотя могли и не послать, так как иной год валки всю зиму оставались разбросанными по полям; могли забрести охотники, ибо сезон только что открыли, хотя могли и не забрести; наконец, должны были появиться гидротехники Петракова, но ведь черт его знает, как долго на самом деле выдерживается бетон... Тихо было

вокруг, только ветер шуршал в траве да граяла стая галок, бессмысленно кружа в квадрате неба над головой.

Николай помялся-помялся и стал орать. Постепенно крики его слабели и под конец перешли в шипение, такое противное и беспомощное, что он смутился и замолчал.

По примете, галки всегда грают к дождю, но на небе не было видно ни одного облачка, а солнце палило, как оно редко палит в преддверии сентября.

«Ах, кабы дождичка бог послал!» – сказал себе мысленно Николай и ощутил на языке явственный привкус йода. От дохлых лягушек шел отвратительный запах тления, битум распространял свои удушливые пары, и к вечеру какой-то горячий морок уже застил ему глаза. Он по-прежнему не скучал, ни о чем не думал, но на душе было нехорошо.

Вдруг Сироткин услышал жалобное мяуканье, вскинул голову и увидел у самой кромки своей ямы большого дымчатого кота. Он так обрадовался этой домашней твари, что даже засмеялся от удовольствия и вчуже удивился тому, что его смех больше похож на кашель; все-таки это было живое напоминание, знак того, что вокруг, может быть, совсем рядом бытуют люди, которые вот-вот появятся и вызволят из беды. Но кот помяукал-помяукал и был таков. «Эх, кабы это была собака!.. – мысленно сказал себе Николай. – Она бы вой подняла, всполошила бы всю округу, а кошка – сволочь, для нее Николай Сироткин то же самое, что для Николая Сироткина – таракан».

Этой ночью он не то чтобы спал, а то временами впадал в полуобморочное состояние, то, очнувшись, лежал и глядел на звезды, то подремывал, наблюдая мучительные, обтекаемые образы, которые (он точно помнил) всегда донимали его в детстве, стоило ему простудиться и заболеть.

На третьи сутки он так ослаб, что утром едва поднялся и сел, прислонившись спиной к стене. Все, что было перед глазами, виделось как-то неубедительно, запястье левой руки ныло и схватилось опухолью размером с колено, в голове и во всем теле было странное ощущение легкости, даже воздушности, крыса, как и давеча, торчала в своем углу. Николай вспомнил про вчерашнего кота и отчего-то решил, что на самом деле никакого кота не было, а это крыса назло издавала что-то вроде мяуканья и вводила его в соблазн. Он поднял глаза, метр за метром проследил кромку прямоугольника над головой и точно не увидел ничего похожего на кота. Видимо, понятие о времени стало у него сбиваться и сегодня путалось со вчера.

Николай не знал, что крысы были первыми млекопитающими на земле и, следовательно, прямыми предками человека, Николай по черствости сердца не увидел в несчастном грызуне товарища по несчастью, и поэтому так озлился на бедное животное, что собрался было обругать его по матери, да не смог разлепить губ; тогда он вынул из кармана обрубок скобы и, прицелившись, запустил им в крысу, но, разумеется, не попал. Обрубок ударился о бетонную стену много левей и выше, издав неприятный лязгающий звук, однако крыса даже не шевельнулась, – может быть, она уже сдохла от жажды и духоты.

По той же самой причине, то есть от жажды и духоты (голода Николай почему-то уже не чувствовал), у него перед глазами стали происходить разные несуразности: то вдруг показалось, что противоположная стена бассейна начала резко крениться вправо, пока не образовала правильный ромб, то на левой стене нарисовался черный-пречерный профиль бригадира Громова, похожий на силуэты, которые умельцы вырезают ножницами из светонепроницаемой бумаги, то будто бы сверху на него неотрывно смотрят, причем неодобрительно и скрепя сердце, точно вот-вот сделают нагоняй. Для препровождения времени Николай достал из кармана оставшееся имущество, долго и скрупулезно рассматривал старый двугривенный, исследуя каждую микроскопическую царапину, и даже попытался сосчитать количество ребер на ободке, потом стал разглядывать водочную пробку, но на ней ничего не было изображено и он выбросил ее вон.

К обеду на квадрат неба вдруг набежала тучка, впрочем, нисколько его не взволновавшая, и очень быстро растаяла в воздухе без следа. Некоторое время спустя вдалеке протарахтел трактор, но и этот звук нимало Сироткина не тронул, поскольку он его принял за шум в ушах. Он постоянно задавал себе мысленно один и тот же вопрос: «И откуда было взяться давешнему коту? Сроду у нас не водилось таких котов...»

Когда опять стемнело и высыпали звезды, он как-то покорно прилег у своей стены, поправил под головой кирзовые сапоги и стал смотреть в небо безучастными глазами, по-прежнему не испытывая ни томления, ни тоски. Что-то около полуночи для него наступил первый день вечности, в каждом частном случае имеющий свое начало, но не имеющий конца, ибо он представляет собой бесконечность, протяженную во времени, которую так или иначе населяют усопшие в Бозе и во гресех. Под утро к телу Николая Сироткина осторожно приблизилась крыса, понюхала его рукав, а потом вернулась в свой угол и замерла.

Однако же на этом дело не кончилось и с течением времени воспоследовало великое множество перемен. Недели через полторы в Пеньки приехали гидротехники Петракова, вытащили тело Сироткина на поверхность, и он еще с месяц лежал в морге в Калуге, пока им занималась судебно-медицинская экспертиза в лице патологоанатома Коноваловой, у которой как раз в эту пору сажали сына за героин. Потом тело Николая погребли в шести километрах от Пеньков, на сельском кладбище, разбитом на краю центральной усадьбы, и оно долго участвовало в сложнейших химических реакциях, взаимодействуя со средой. Много позже, то есть сразу после того, как изобрели способ передачи электроэнергии непосредственно через стратосферу, и за мгновение перед тем, как во всех подробностях был восстановлен латинский алфавит, он окончательно соединился с первичной материей и продолжал существовать уже молекулярно, на тех же основаниях, что и всякое безличное вещество. Когда же звезда Солнце, последовательно расширяясь, сожгла и поглотила планету Земля, мириады молекул были выброшены во вселенную и зашлись в бесконечном кружении, постепенно удаляясь в сторону галактики Малые Магеллановы Облака. Что ни говори, в этом кружении участвовала и молекула Коля Сироткин, и молекула Александр Македонский, и молекула Блез Паскаль. Как все-таки интересно устроен мир.

ЕСЛИ ЕХАТЬ ПО РУБЛЕВСКОМУ ШОССЕ...

Если ехать по Рублевскому шоссе в сторону Николиной Горы, мимо правительственных дач, поселка Ильинское, института детского питания, над которым почему-то вечно висит ядовито-бирюзовое облако, и после поста ГАИ повернуть направо, то вскоре увидится загадочное трехэтажное здание за высоким забором из силикатного кирпича, стоящее как-то умышленно, нарочито особняком. Зимой, поздней осенью и весной это здание более или менее на виду, но с мая по октябрь его трудно бывает углядеть за кронами берез, старинных, неохватных тополей, каштанов и лиственниц, которые со всех сторон окружили дом и как будто взяли на караул. Оттого в это время года оно представляется действительно таинственным, и кажется, что за высоким забором из силикатного кирпича спрятан какой-то большой секрет. Постороннему человеку мнится, что, наверное, тут притаился штаб глобальных катастроф, или главная шпионская школа, или исследовательский центр по воскрешению мертвецов. Что там шпионская школа! в этом трехэтажном особняке на самом деле такие творятся вещи, что перед ними немеют специалисты по воскрешению мертвецов.

За ворота, разумеется, не пускают, и придется поверить на слово, что, как одолеешь аккуратную асфальтовую дорожку и окажешься в вестибюле, выложенном серой каменной плиткой, то налево будет дубовая двустворчатая дверь, направо будет точно такая же дверь, а прямо откроется широкая мраморная лестница, которая что-то уж очень круто уходит вверх. Мебели никакой, если не считать древних напольных часов, которые когда бьют, то словно по голове. В остальном же здешняя тишина поражает; тишина такая, как будто во всем доме нет ни единой живой души.

Это впечатление обманчиво, и стоит, например, заглянуть за дубовую дверь направо, как увидишь целую компанию серьезных мужчин, которые сидят за необъятным круглым столом и шумно общаются меж собой. Вероятно, звукоизоляция в этом здании такова, что режь человека на части – наружу не проникнет ни один возмущенный звук.

Собрание манипулирует какими-то бумажками, клеем, ножницами, прочими канцелярскими принадлежностями и при этом безостановочно говорит:

– Как ни удалены в исторической перспективе цели нашей партии, мы представляем собой единственную политическую силу, которая действует в русле общественного прогресса и ориентирована на высший гуманистический идеал.

– Да, но исходя из ментальности современного человека, мы скорее представляем собой союз против захода солнца или чтобы мужики рожали, – это так же точно, как то, что меня зовут Николай Ильин!

– Именно поэтому необходимо переименовать нашу политическую доктрину в религию, а партию – в церковь, и тогда все встанет на свои места, найдет, так сказать, логическую стезю...

– В добрые времена за такие инициативы ставили к стенке, и поделом!

– А что из этого вышло? Опять двуглавый орел и полное торжество классового врага!..

Уже за окнами сумерки, и ветви неохватных тополей кажутся гигантскими щупальцами, ищущими, чего бы им ухватить. Уже кремлевские коридоры, поди, опустели, президент находится в пути к своей подмосковной резиденции, глава администрации сидит у себя на государственной даче в Петрово-Дальнем, а за дубовой дверью направо все еще обмозговывают свои загадочные дела.

За дубовой дверью налево тоже обмозговывают загадочные дела, с той только разницей, что дебаты тут обстоятельней и значительно горячее. Наслушаешься слов, которые произносят серьезные мужчины, сидящие за необъятным круглым столом, и станет понятно, что от них зависят судьбы народов и государств. Например:

– Если мы в двухнедельный срок высадим десант на Мадагаскаре, эта проблема решится сама собой.

– А сравнительно кроткими мерами нельзя ли как-нибудь обойтись?

– О каких кротких мерах вы говорите, если, по агентурным данным Федеральной службы безопасности, завод в окрестностях Анталахи выпускает десять тонн метадебилина в месяц и еще полторы тонны дает филиал 24-бис?! А потом его распылят над Центральной Россией, и мы имеем то, что мы имеем в родной стране!

– Что мы имеем в родной стране?

– А вот что: Голландия занимает первое место в мире по экспорту тюльпанов, а между тем родина тюльпанов – Алтайский край!

– С другой стороны, нужно принять в расчет, что мадагаскарская инициатива, при самом оптимистическом прогнозе, обещает пятьсот бойцов убитыми, тысячу пятьсот ранеными, контуженными и попавшими в плен к врагу. И это при общей численности контингента в десять тысяч семьсот штыков! Вы думаете, Семен Семенович Захенбахер погладит нас по головке за этот авантюризм? А что, по-вашему, скажет Иван Лукич?!

– Что бы ни сказал Иван Лукич, перво-наперво необходимо подвести под операцию законодательную базу, без которой при сложившихся обстоятельствах ни ногой. Считаю, требуется немедленно послать в Государственную думу соответствующий запрос на этот конкретный счет. А то они, понимаешь, занимаются склоками, а как доходит до законодательной базы, то они все по заграницам да отпускам!

– Ничего не получится, даже если приковать думцев наручниками к этим самым... ну, я не знаю, на чем они там сидят. То есть квалифицированное большинство мы точно не наберем. Коммунисты будут вставлять палки в колеса, у них теперь и дела другого нет!

– На самом деле коммунизм – это прекрасно, да коммунисты сволочи – вот беда!

– А по-моему, нужно просто подвести под мадагаскарскую инициативу какой-то прочный, незыблемый аргумент. Скажем, так: если Государственная дума отвергает наше предложение, то мы не гарантируем роста валового национального продукта на уровне положения от 4 октября!

– А как мы увяжем чисто военную проблему с положением от 4 октября?

– По этому поводу хорошо бы посоветоваться со стариками, – следовательно, давайте подключать к работе спиритотдел. Кто у нас сегодня на вахте? Пригласить-ка его сюда!

Дежурный офицер вскакивает со своего места, как заводная игрушка, скрывается за дверью и уже через минуту в нее входит полковник Корсаков-Левенталь. Его спрашивают:

– Кто у нас сегодня на связи?

Он отвечает:

– Как обычно: Клаузевиц, Мольтке, Наполеон.

– Переговорите, пожалуйста, с господином Хельмутом Карлом Мольтке Старшим на предмет увязки мадагаскарской инициативы с положением от 4 октября!

– Боюсь, идея не понравится Семену Семеновичу Захенбахеру. Опасаюсь также, что на это дело косо посмотрит Иван Лукич.

– Вы не рассуждайте, а делайте, что вам говорят!

– Есть!

Как известно, хозяева Третьего рейха живо интересовались трансцендентальным и по простоте пытались использовать его в дипломатической практике, военных целях, государственном строительстве и прочих темных своих делах. А то, разумеется, показалось бы подозрительно-невероятным, что в двух шагах от Москвы, в трехэтажном особняке, скрывающемся за деревьями, несколько положительных мужиков садятся за одноногий столик и начинают вызывать дух генерал-фельдмаршала Мольтке, а тот через некоторое время откликается на призыв. И вот уже самый сложный агрегат, замаскированный под обыкновен-

ное чайное блюдце, выводит готические письма: «Die Konstellation der Gestirne begünstigt Operationen der feindlichen Cavallerie im Hinterland».

Вернувшись в зал заседаний, полковник Корсаков-Левенталь сказал:

– Генерал-фельдмаршал Хельмут Карл Мольтке Старший сообщает, что расположение звезд благоприятствует операциям конницы по тылам.

– Гм! Что бы такое могла эта абракадабра обозначать?!

– Скорее всего, немец нас предупреждает: прежде чем приступить к осуществлению мадагаскарской инициативы, необходимо обеспечить собственные тылы.

– А именно развернуть широкую пропагандистскую кампанию под лозунгом «Бабы еще нарожают», чтобы народ загодя смирился с чудовищными потерями, на которые обречен наш воинский контингент.

– Кроме того, нужно заключить негласный союз с коммунистами, альянсом промышленников и фракцией «За воссоединение города и села».

– Эту миссию пускай тоже на себя возьмет Корсаков-Левенталь. Как он у нас специалист по сверхъестественному, то пусть продемонстрирует свое профессиональное волшебство.

– Напомню, что в прошлый раз полковник провалился по всем статьям.

– В прошлый раз, это когда?

– Когда стоял вопрос о государственном суверенитете еврейской автономной области и перенесении столицы в новый Биробиджан.

– Вообще евреев пора прижимать к ногтю!

– Позвольте: здесь собрались государственные мужи или антисемиты и прочая сволота?!

– «Прочая сволота» – это вы про кого?

– Да про тебя, черносотенец, чтоб ты сдох!

Неудивительно, что вследствие этой декларации за левой дверью разгорается нешуточный скандал: в ход идут взаимные упреки, обидные определения, и, наконец, дело доходит до канцелярских принадлежностей, которые начинают порхать в воздухе с разной скоростью, как летучие мыши, бабочки и шмели.

Тем временем за дверью направо тоже занимается скандал, но тут почти сразу переходят к рукопашной и тузят друг друга, невзирая на должности и чины. Один Николай Ильин взобрался на стол, молитвенно сложил руки и по-прежнему говорит:

– Хоть убейте, не понимаю: почему так сложилось, что чем возвышенной социально-экономической задачей, тем больше она возбуждает ожесточения и борьбы?! Видимо, в следующем номере «Искры» придется поднять этот больной вопрос...

Вдруг отворяется дверь и на пороге вырастает громадный Иван Лукич. Он строгим взглядом обводит зал, и битва замирает, как в скоропостижном параличе.

– Вам что было сказано? – вопрошает он. – Заниматься трудотерапией, клеить коробочки для лекарств. А вы опять принялись за свое! Вот я доложу Семену Семеновичу про ваши художества, и он вам пропишет добавочный инсулин!..

Эта угроза производит магическое действие: скандалисты бледнеют, молча рассаживаются по местам и через минуту уже покорно клеят коробочки для лекарств.

ДЕРЕВНЯ КАК МОДЕЛЬ МИРА

На берегу речки Махорки, такой прозрачной, что иной раз увидишь, как по дну ее бродят раки, стоит деревня в сорок четыре двора, которая называется – Новый Быт. Происхождение этого оригинального имени нарицательного таково: прежде деревня называлась Хорошилово, но в коллективизацию, именно в тридцать первом году, когда здешние крестьяне битых два месяца выдумывали название для колхоза (в конце концов остановились на «Веселых бережках»), заодно решили переименовать родную деревню, отчего географию нашего района и украсил этот причудливый топоним. Вообще удивительна наша страсть ко всякого рода внешним переменам, тогда как по существу у нас не меняется ничего.

Дворы в Новом Быте komponуются манерно, под стать названию, не так, как обыкновенно – в улицу, а группами и несколько на отшибе, из-за чего деревня представляет собой путаную сеть проулков, закоулков, пустырей, огородов и тупиков. Да еще восточной околицей тут служит кладбище, заросшее подлеском, да стоит чуть ли не посредине деревни молодая осиновая роща, которая, впрочем, органично вписывается в ансамбль, равно как покосившаяся водонапорная башня, заброшенный коровник и гигантское колесо. Касательно этого колеса: диаметр его больше двух метров, никто не запомнит, откуда оно взялось, и валяется сей феномен на самом видном месте – там, где сходятся проселок, ведущий к центральной усадьбе, основная группа дворов, огород бабки Тимохиной и пустырь. До центральной усадьбы далеко, до ближайшего жилья километров пять, и в хороший день можно невооруженным глазом видеть деревню, населенную высланными ингерманландцами, которая называется Эстонские Хутора.

Кроме бабки Тимохиной в нашей деревне обитают еще три семейства природных крестьян из почтенных – Ивановы, Крендели, Сапожковы, да несколько душ из малопочтенных, – прочее население составляют дачники, которые живут у нас кто наездами, кто сезонно, кто круглый год. Среди обитателей наездами нужно отметить нашего иностранца, шведа Густава Ивановича Шлиппенбаха,¹¹ который вообще живет в Гётеборге, но лет десять тому назад завел в Москве строительную фирму и купил себе деревенский дом.

Разумеется, пестрый социально-этнический состав населения (не считая русаков, два поволжских немца, четверо татар, один грузин, один видный публицист, два университетских профессора и еврей) явственно отзывается на внешности нашей деревни, тоже довольно пестрой и обличающей подвиги последних лет. У крестьян из почтенных усадьба похожа на стойбище крымчаков, из непочтенных – на мусорный контейнер, у дачников, конечно, такого не бывает, чтобы напротив крыльца валялась ржавая борона и окурки пополам мешались с палой листвой, у шведа усадьба похожа на приемную процветающего врача.

Жизнь в нашей деревне начинается где-то в седьмом часу. Когда солнце уже поднялось над восточным сектором небосвода, но на юго-западе в бледном небе еще висит полная луна, первым делом на дворе у Кренделей возникает скандал между Верой Крендель и петухом. Пару лет тому назад Иван Владимирович Крендель, как раз в годовщину смерти жены, привел в дом новую подругу, Веру Ивановну, и у нее сразу не сложились отношения с петухом: то ли птица ее просто невзлюбила, то ли приревновала к памяти покойницы, но она проходу не дает новой хозяйке, норовя ее клонуть исподтишка, и поэтому каждый день открывает у нас скандал.

¹¹ Между прочим говоря, он приходится праправнуком тому самому Константину Шлиппенбаху, который был начальником Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где учился Михаил Юрьевич Лермонтов, когда он поступил в лейб-гусарский полк.

– Сволочь такая, – орет Вера на всю деревню. – Какую моду взял: нападать на живых людей!.. Слышишь, Вань! Или я, или мы варим из этого гада суп!

Птица в ответ клекочет, опасно заходя то с правой стороны, то с левой стороны, а Иван Владимирович, обожающий своего петуха, как только можно любить лошадей и собак, хмурится и молчит.

Вскоре к ору на дворе у Кренделей мало-помалу начинает примешиваться глухой металлический звук, который после становится мерным, как бой часов. Это наш деревенский дурачок¹² Сережа строит бензотопор. Если попытаться его убедить в нелепости этой затеи, он сделает рукой, как для открытого голосования, и скажет своим детским голосом:

– Бензопила есть? есть! значит, должен быть и бензотопор! А то нелогично как-то получается: бензопила есть, а бензотопора нет..

Любопытно, что Сережа строит уже третью модификацию своего аппарата, который в последней версии одновременно похож на походную гильотину и маленький вертолет. Впрочем, фантазмагорическая эта машина, приводимая в действие моторчиком от мопеда, исправно колет березовые чурки сразу на четыре полена строгого образца. По внеэкономическим временам, то есть лет тридцать тому назад, изобретению нашего деревенского дурачка, возможно, дали бы ход как выдумке самородка из глубинки, но сегодня оно пропадает втуне, поскольку бензотопор, по расчетам самого Сережи, стоит в тысячу сто двадцать восемь раз дороже обыкновенного топора.

Тем временем деревня окончательно просыпается; мужики, вопреки здравому смыслу еще работающие в колхозе, заводят свои трактора, всегда ночующие против окон, ребята идут в школу в соседнее село Марьино, которое от нас не видать ни в какую погоду, женщины выпроваживают за ворота коров и овец, – скотину у нас почему-то выгоняют поздно, что-то в восьмом часу. Старики еще прежде повывлазили из щелей и потерянно бродят по своим дворам, не зная, к чему себя приспособить: то он насобирает в лукошко падалицы, то станет гонять ворону, охотящуюся за цыплятами, то плеснет хряку помоев, то просто сядет со своей палочкой на скамейку возле калитки, прищурится и сидит. Солнце, какое-то матовое по осени, уже позолотило в эту пору окрестности под девянсто шестую пробу, несметная стая галок носится над деревней, река Махорка еще в тумане, который клубится тяжело и протяженно, как будто только-только прошел дедовский паровоз. Холодно, однако на здоровый манер, когда окоченелый воздух как-то группирует и веселит.

В это время в разных концах деревни сравнительно праздный элемент, с точки зрения крестьянина из почтенных, изготавливается к своим привычным занятиям, отчасти экзотическим, которые трудно вписываются в естественный быт села. Братья Сапожковы поджидают возле заброшенного коровника почтальоншу Зину и для препровождения времени режутся в «петуха». Елена Казимировна Вонлярлярская, из старинного польского рода Вонлярлярских, обосновавшегося в России при государыне Елизавете Петровне, копается в своей теплице, где она выращивает особенный сорт артишоков, устойчивый к засухе, непогоде и холодам; между тем ее муж,¹³ как говорится, дрыхнет без задних ног. Некогда административно-высланные Вова Сироткин и Саша Востряков, живущие в полуразвалившейся избе, где даже и печки нет, валяются на грязном тряпье, маются с похмелья, поминают одного лавочника из Марьино, который скупает ворованные пожитки, и то и дело посматривают на часы. Густав Иванович Шлиппенбах тем временем налаживает свою электрокосилку, поскольку он каждое утро, вместо моциона, стрижет газон. Маня Иванова, сырая женщина пятидесяти пяти лет, по обыкновению помирает, а ее муж Пет-ро починяет само-

¹² Впрочем, этому подвиду русского человека мы обязаны очень многим: юридические у нас создали национальную культуру, изобрели средства межпланетного сообщения и, бывало, спасали от царского гнева целые города.

¹³ Вениамин Александрович Сиволапов, семидесятилетний крепыш, который никогда и ничем серьезно не занимался, разве что он широко образован и превосходный преферансист.

гонный аппарат, что-то мурлыча себе под нос. Сергей Владимирович Аптечко, наш видный филолог и публицист, поднимается к себе в кабинет, устроенный из обыкновенного чердака.

Устроившись в кресле из карельской березы, Сергей Владимирович закурил трубку, пододвинул к себе пишущую машинку и продолжил работу, начатую вчера. «Таким образом, – отстукивал он, дважды ударяя по клавише буквы «м», которая у него плохо пропечатывалась, – опыт оперативного прочтения романа в стихах, изданного в прошлом году великим костариканцем, наводит прежде всего на такую мысль...

Заниженный эстетизм в поэзии, особенно эпического жанра, если он представляет собой эзотерический прием, а не продукт ограниченного дарования, всегда дает невысокий более или менее результат. Ограниченное дарование, напротив, стремится к повышенному градусу эстетизма, чем в свое время грешили наши акмеисты, но в силу именно своей природной ограниченности они вечно попадают в тенеты, ими же самими и расставленные...» – ну и так далее вплоть до последней точки, которую Сергей Владимирович обыкновенно ставит что-то около часу дня.

Примерно в это время Вова Сироткин говорил Саше Вострякову, держась обеими руками за голову, как если бы он опасался, что она у него вот-вот отвалится и скатится с подушки на грязный пол:

– Ты помнишь, Саня, как весной на Эстонских Хуторах эти долдоны отмечали типа ихний национальный праздник какой-то?..

– Ну.

– Как они тогда все скакали, колбасились, типа с ума посходили?..

– Ну.

– Так вот: ведь они же все трезвые были! Ты представляешь – сто пятьдесят скачущих мужиков, которые все ни в одном глазу?!

– Да нет, они, наверное, клею нанюхались. Потому что по-другому не может быть.

– Все равно обидно. Они же про нас думают, что мы типа беспросветные дикари...

Маня Иванова тем временем помирала. Она лежала в низкой избе на железной кровати с никелированными шарами, под большим подкрашенным фотографическим портретом своих родителей, и внимательно смотрела в нависающий потолок. Потом она подозвала пальцем своего Петро, который уже закончил починку самогонного аппарата и теперь сушил на подоконнике «Беломор». Петро подошел, Маня ему сказала, по-прежнему глядя в нависающий потолок:

– Как я помру, ты сразу женись, а то завшивеешь, старый хрен. Например, на Тане Шпульниковой женись, которая сестра марьинскому фельдшеру, – она женщина хорошая, не ехидная, даром что соломенная вдова. Поклянись моим здоровьем, что женишься, старый хрен!

Петро поклялся, потом припомнил, как по крайней мере два раза в неделю его жена, у которой еще в детстве по таинственной причине отшибло обоняние, говорила ему: «Поклянись моим здоровьем, что ты сегодня не выпивал!» Он клялся и всегда удивлялся про себя, как его супруга еще жива.

Петро вдруг заулыбался весело и сказал:

– А знаешь, Маня, почему папиросы «Беломор» называются – «Беломор»? Это я своим умом дошел: потому что Сталин выдумал такие папиросы, чтобы морить белогвардейцев и прочий вражеский элемент!

Маня Иванова и в самом деле померла, кажется, дня за два до православного Покрова. Петро на ее похоронах напился до такой степени, что свалился в отверзтую могилу и ни в какую не отзывался на приглашение вылезать.

Тем временем братья Сапожковы дождались-таки почтальоншу Зину, уже крепко выпившую, но не то чтобы до потери рассудка, а пребывавшую в том состоянии, которое сле-

дует охарактеризовать как основательно не в себе. Они затащили ее в заброшенный коровник и с час насильовали по очереди, предварительно подстелив под пьянчужку два ватника и положив ей под голову дерматиновую сумку, полную газет, писем и телеграмм. Зина при этом глупо улыбалась и приговаривала:

– Ну, блин, сволочи! Ну, зверье!

Примерно за полчаса до этого происшествия наш швед Густав Иванович Шлиппенбах рассказывал соседке бабке Тимохиной, как его подвергли психиатрической экспертизе в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое случилось полтора года тому назад...

– Вот уж, действительно, жизнь полна неожиданностей, – говорил он,¹⁴ облокотясь о штaketник забора и сделав строго-значительное лицо. – Полтора года тому назад черти принесли в Швецию двоих русских. Взяли они напрокат автомобиль и поехали в Гётеборг. А из Гётеборга они отправились в Несшё, но проехали поворот. Нормальные люди рулили бы дальше, до разворота, – там через пятьдесят километров имеется разворот, – но эти русские стали сдавать назад. Вы можете себе представить: они полтора километра ехали задним ходом! и это по автобану, где автомобили мчатся со скоростью сто пятьдесят километров в час! Конечно, я в них врезался, потому что ненароком ехал в том же направлении, и в результате я на целых два часа попал в сумасшедший дом. Сейчас объясню, почему так получилось: потому что полицейские взяли с меня максимальный штраф. Я рассердился и говорю: «Эти русские ехали задом, а штрафуете вы меня!» Ну, полицейские посовещались между собой и направили вашего покорного слугу на психиатрическую экспертизу – так я на целых два часа попал в сумасшедший дом!

Между тем дело идет к обеду. Тут и там над избами курятся дымы, которые больше стелются из-за сырости и, кажется, пахнут щами, а то гречневой кашей на молоке. Осиновая роща стоит полуголая, мокрая и дрожит остатками листьев, точно она озябла, но на самом деле дрожит она под воздействием еле заметного ветерка. Небо холодное, серое, какое-то нечистое, каким еще бывает давно не стиранное белье. Только на кладбище галки покрикивают, а так полная, в некотором роде аномальная тишина.¹⁵

Как раз около трех часов пополудни некогда административно-высланные Вова Сироткин и Саша Востряков, прихватив фомку и топорик, направились в сторону нашей водонапорной башни, к даче профессора Удальцова, где они надеялись обнаружить что-нибудь такое, что можно обменять у марьинского лавочника на сахарный самогон. Они уже отчинили раму в сенцах, когда на шум выглянула Елена Казимировна Вонлярлярская, по-прежнему возившаяся со своими артишоками, и пошла растолкала мужа, который до вечера мог проспать, кабы не решительный акт жены. Вениамин Александрович позевал, влез в штаны, накинул на себя теплую куртку, вышел на двор и крикнул через забор:

– Вы что это себе позволяете, мужики?!

Некогда административно-высланные с интересом на него посмотрели, а затем Востряков молвил, обратясь к товарищу:

– Вова, скажи ему каламбур.

– , – сказал Вова и сплюнул через плечо.

Вениамин Александрович побледнел, Елену Казимировну, напротив, бросило в краску, она нагло вато хихикнула и еще пуще покраснела, устыдившись своего неженственного смешка.

¹⁴ Густав Иванович говорит на безукоризненно правильном русском, но с таким акцентом, что создается впечатление: он сам не понимает, что говорит.

¹⁵ Тишина в наших местах, действительно, такая, что рано утром или под вечер слышно, как в Марьине заведут генератор или вдруг заиграет подгулявший аккордеон. С Эстонских Хуторов до нас никогда никаких звуков не долетает, словно там только тем и занимаются, что соблюдают аномальную тишину.

Тем временем воздух начинает темнеть, темнеть, пока окончательно не преобразуется во что-то кислое и печальное, как нечаянная слеза.

Галки в эту пору носятся над деревней черными тенями, словно мелкие демоны, от реки Махорки тянет сыростью и запахом тины, в избах кое-где уже затеплились первые невнятные огоньки. В эту пору Вениамин Александрович Сиволапов и наш публицист Аптечко любят посидеть на застекленной веранде, выпить стаканов по шести чая с коньяком и потолковать о разных предметах, равноудаленных от российской действительности, как светило Альдебаран.

– Я удивляюсь, до чего непреложно и последовательно климат влияет на психику человека, – например, говорит Вениамин Александрович и смешно выпучивает глаза. – То есть не климат даже, а географическое положение, зависимость от угла падения солнечного луча. Вот ваши костариканцы: живут себе, поди, как птицы небесные, словно у них не жизнь, а один нескончаемый выходной! Знай себе, наверное, пляшут и поют, пляшут и поют, а в перерывах сочиняют лирические стихи...

Сергей Владимирович на это отвечает:

– Какая у костариканцев, в сущности, может быть поэзия, если у них сумерек не бывает! Видите ли, в этих широтах день в течение двух минут переходит в ночь.

У нас этот процесс, действительно, длится дольше: на западе небо еще светло, но землю точно накрыла одна громадная тень, которая навела такой крошечный мрак, что не разглядеть растущего под окном смородинового куста. А на востоке небо уже усыпано звездами, одинаковыми для всего Северного полушария, и вот посмотришь на эти звезды, и сразу возьмет удивление на любителей путешествовать и первопроходцев, а также придет на мысль: как наш мир односушен, но, главное дело, незамысловат...

ВИСЯК

Этим неблагозвучным словом у наших сыщиков называется нераскрытое преступление, из тех, что вообще редко поддаются расследованию, отягощают отчетность, но почти не влияют на профессиональное реноме.

Именно такое преступление в прошлом году было отмечено в одном небольшом селе на северо-западе одной нашей центральной области, в окрестностях одного великорусского городка. Географические названия повествователь вынужден опустить, ибо еще здравствуют люди, так или иначе причастные к прошлогоднему случаю, еще память о нем не простыла и страсти не улеглись. Правда, у нас обожают беречь свежие раны, но эту конкретную рану, честное слово, лучше не беречь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.